

Истребитель

Автор:

Дмитрий Быков

Истребитель

Дмитрий Львович Быков

Проза Дмитрия Быкова

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Львович Быков

Истребитель

Роман

* * *

Автор и редакция выражают благодарность кандидату технических наук, историку авиации Николаю Олеговичу Валугеву за консультации при подготовке

романа к изданию.

© Быков Д. Л.

© ООО «Издательство АСТ»

От автора

«Истребитель» – третья книга «И-трилогии», начатой романами «Икс» (2012) и «Июнь» (2017). Как и в «О-трилогии» («Оправдание», «Орфография», «Остромов»), все три части автономны, но лучше читать их в том порядке, в каком они написаны.

Желание написать «Истребитель» впервые появилось у меня при чтении дневников журналиста-правдиста Лазаря Бронтмана (1905–1953), заботливо собранных, оцифрованных и прокомментированных его сыном Ростиславом (1930–2014). Бронтман систематически вел дневники с 1932 года. Он был одним из лучших московских репортеров и побывал решительно везде – на Северном полюсе (высадился там с Трояновским и Виленским – ни один журналист до них там не появлялся), на льдине с папанинцами, на поисках земли Санникова (в экспедиции Ушакова), в пустыне Каракумы (в автопробеге), поднимался на самолетах, устанавливавших рекорды, и дружил с лучшими летчиками, которых многократно интервьюировал. Бронтман жил в напряженнейшем темпе, а поскольку я проработал в газете сорок лет и вряд ли добровольно расстанусь с этим занятием, мне ужасно понравились его азарт и счастливое чувство причастности к самому главному. Один неудавшийся журналист писал о «лихорадочном бесплодии» редакционной жизни. По-моему, лихорадочное бесплодие – это как раз все остальное. Впрочем, многое зависит от эпохи – но, смею думать, и от наблюдателя. Бронтман был наблюдателем и хроникером Божьей милостью.

Он часто бывал на кремлевских приемах, на торжественных встречах героев, на пленумах и съездах; он беседовал со Сталиным, который высоко ценил его статьи, с Микояном, Ворошиловым, Калининным, Кагановичем, Вышинским. О

встречах с вождями ему рассказывал Чкалов (особенно меня восхитила история с лимонами на отдыхе в Сочи – я кое-что присочинил, но рассказ изложен в дневниках, такого не выдумаешь!). Вообще чтение этих записей, которые любой желающий найдет, например, по адресу http://militera.lib.ru/db/brontman_lk/index.html, – увлекательнейшее занятие, и я от души рекомендую их всем, кто, подобно мне, пытается разобраться в причинах триумфа и краха советского проекта. Их военная часть в 2007 году издана книгой в «Центрполиграфе» под редакцией доктора исторических наук В. А. Невежина. Эта книга давно стала источником бесценных деталей для историков.

Бронтман – одна из трагических и символических фигур эпохи: в 1948 году он, член партии с 1941 года, редактор отдела информации «Правды», а впоследствии ее военного отдела, все пять лет войны выезжавший на фронт, четырежды орденосец, попал под кампанию «борьбы с космополитами». Вся вина Бронтмана состояла в фамилии – и дружбе с несколькими учеными и врачами, оказавшимися под катком «партийной критики». Сначала он вынужден был взять псевдоним Лев Огнев, потом был изгнан из газеты и перешел редактором в «Знамя», но печататься ему уже не давали. Можно себе представить, как переносил вынужденное бездействие этот человек, прежде писавший в номер едва ли не ежедневно, живший стремительно и рисковавший собой в пустыне, во льдах и на фронте. Бронтмана свалил инсульт, от которого он уже не оправился. К чести его друзей, летчиков, полярников, авиаконструкторов, – никто не отвернулся от него, все помогали семье, но даже начавшаяся эпоха «реабилитанса» не смогла вернуть ему силы. Он пережил Сталина на 9 месяцев.

Дневники и книги Бронтмана (в особенности брошюра о Владимире Коккинаки и о рекордном перелете «Родины») внушили мне странное чувство: именно при знакомстве с ними я впервые в жизни ощутил постыдную, может быть, зависть к героям этого времени, про которое нам вроде бы столь многое известно – уж как-нибудь достаточно для того, чтобы не плакать ночью о времени большевиков, а если и плакать, то не от зависти. Попыткой разобраться с этим нелогичным чувством стала книга, которую вы держите в руках.

Как и одна из героинь этой книги, автор пытается сделать производственному роману метафизическую прививку, то есть напомнить сестрам Лазаря Марфе и Марии, что они, в конце концов, дети одной матери. Поэтому, при всем авторском старании с максимальной достоверностью описать авиационную технику, это не справочник по истории советской авиации. В хронологии тоже

встречаются сдвиги (не настолько, однако, существенные, чтобы нарушить логику истории). Так, дрейф «Седова» закончился в феврале 1940 года, а не в августе 1939-го; прыжок с парашютом и гибель Любы Лондон (Берлин) описывается в дневнике Бронтмана в 1936 году; Гриневицкий далеко не тождественен Леваневскому, Донников – Бронникову, да и Волчак сильно отличается от прототипа. Тем не менее приключения, кажущиеся самыми невероятными, имеют строго документированный источник. Предполагаемый маньяк, патологоанатом Афанасьев-Дунаев (в романе Артемьев), действительно упоминался в разговоре Бронтмана с Вышинским, был выпущен и работал в качестве военврача. Карл Сциллард в Омске действительно был забыт в бане в сорок втором и увидел в окне жену и дочь. Большая часть реплик Сталина документальна. Я опирался и на стенограммы, и, конечно, на дневник. Что касается Льва Бронмана, он, в отличие от Лазаря Бронтмана, работает в «Известиях», многие его приключения – чистый вымысел, и автор из искренней любви к протагонисту позволил ему дожить до полета Гагарина. Мне кажется, он заслужил и это, и право произнести последнюю фразу всей трилогии: «ВСЕ-ТАКИ Я БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОКО».

Этот роман – мое последнее обращение к советской истории. По крайней мере я так думаю, потому что в нем, кажется, объяснил себе ее феномен. Правильных, то есть универсальных, объяснений не бывает, но для меня эта тема закрыта. Из руин вавилонского зиккурата Александр Македонский велел построить цирк. А на свете есть много еще удивительных пространств, государств и даже людей.

Дмитрий Быков

Москва, ноябрь 2020

Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада?

Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?

От ромашек-цветов пахнет ладаном из ада,

И апостол Андрей носит «Люгер» пистолет?

От того, что пока снизу ходит мирный житель,

В голове все вверх дном, а на сердце маета,

Наверху в облаках реет черный истребитель

Весь в парче-жемчугах с головы и до хвоста.

Кто в нем летчик-пилот, кто в нем давит на педали?

Кто вертит ему руль, кто дымит его трубой?

На пилотах чадра, ты узнаешь их едва ли,

Но если честно сказать – те пилоты мы с тобой.

Борис Гребенщиков, 1996

Однажды мне пришлось рецензировать работу одного исследователя насчет маленького писателя XIX века, которого вряд ли кто-нибудь здесь знает, – я имею в виду Воскресенского. У него есть роман «Женщина».

Он начинается вот с чего. Однажды на балу он встречается прекрасную женщину, усеянную бриллиантами.

Эта женщина представляется ему каким-то чудом (как декорации Гонзаго). Он не может приблизиться к ней, потому что ее окружает невероятный круг обаяния, отвержения, люди, стоящие около нее, как бы отгораживают ее, а она вся радирует.

Проходит некоторое время. Однажды он возвращается ночью с попойки. Устал, недоволен, мрачен. По улице идут прачки. Они везут бочку воды и белье. А впереди он видит женщину, несколько похожую на ту, которую видел раньше на балу, в том окружении. Его поражает сходство. Он идет за ней и вдруг по родинке узнает, что это та же самая женщина, но в лохмотьях, с тазом.

Это чудо превращения просто невозможно, но оно существует.

Проходит некоторое время, однако он не может разрешить для себя эту загадку. И вот однажды он приходит к испанскому посланнику и видит, что она сидит в ложе с каким-то аргентинским послом.

Тут она уже другая: она не русская красавица, она – испанка, но это одна и та же женщина.

И вот дальше проходит несколько превращений.

В чем дело? Оказывается, эта женщина – крепостная, ее то любят, то бросают, то опять ее поднимают. Она – человек играющей судьбы. Она появляется то в одном, то в другом качестве.

Вот эта фантазмагория николаевской эпохи, это окружение женщины, которая становится виной каких-то фантазмагорических, но вполне исторических судеб... Она изображена в этой глубокой историчности, в фантазмагории той эпохи.

Юрий Домбровский, 1975

– ...Вы хотите сказать – вещи не из внутреннего опыта.

– Есть разные внутренние опыты.

Лидия Гинзбург, 1933

Пролог

Красный стакан

– Убьет он тебя, – сказала Маруся, нервно смеясь. Она нервничала весь день, еще в электричке, которая так медленно ползла по жаре, и теперь, в кафе «Север» на улице Горького, ей тоже было беспокойно. А с чего, казалось бы? Она ничего такого не делала. Ужас как надоело быть виноватой. Аркадий умел так молчать, исподлобья на нее взглядывая, так перетаскивать Светлану на свою сторону, так переходить с ней на «мы», – «Что ж, Светлана, не нужны мы ей больше, пойдём мяч гонять», – что как-то она и в самом деле привыкла, будто всегда ему

должна. А ведь что такого? Что она делает сейчас неправильно? И ужасно было это чувство, что он наблюдает, хотя до такого он никогда бы не дошел. Сказал же он ей когда-то: я, Маруся, конник, а не шпион, я и разведку-то не любил никогда.

– Ну, – ответил Василий, – это еще кто кого убьет.

При этом он засопел совершенно по-мальчишечьи. Маруся еще раз подумала, что, конечно, Аркадий бы его сшиб с ног, если бы захотел, а может, просто так посмотрел бы, что и драки никакой не надо. Аркадий казался иногда старше своих тридцати двух, а Василию было двадцать семь. Несмотря на всю его суровость. Маруся все время чувствовала себя старшей, и ей это не нравилось.

С Аркадием в последнее время было совсем плохо. Участились припадки, которые почти проходили, когда он писал, но писать-то больше не мог. Все чаще часами сидел за столом, глядя в стену, грыз вставочку, потом решительно бросал ее и шел запускать со Светланой змея на пустырь или принимался вдруг учить ее боксировать. Занятия совсем не для девочки, он и хотел мальчика, но потом смирился – подумаешь, девочка, даже хорошо, мальчиков хороших много, а девочек таких, как моя Маруся, почти нет. И стал растить из Светы мальчишку: восхищался, когда она дралась, пел военные песни – большей частью, кажется, своего сочинения, – таскал в дальние пешие походы по окраинам. Все это не нравилось Марусе.

– Но ты себе много чего не думай, – сказала Маруся. – Мы погулять пошли. А так ничего.

– У нас знаешь как учат? – сказал летчик, наклоняясь к ней очень доверительно. – Меня товарищ Водопьянов готовит. Личный инструктор мой. Так вот, он когда на Байкале разбился, то понял: неприятности надо преодолевать по мере поступления. Помню, говорит, полз в снегу – и думал: чего там будет, еще поглядим. А пока – по мере поступления. Вот и я так думаю, да?

– Умный какой, – сказала Маруся и опять нервно засмеялась. Не надо было падать на Байкале и вообще называться героем Водопьяновым, чтобы понять такую простую вещь.

А вот сейчас, подумала Маруся, поступит мне такая неприятность, что сразу после мороженого товарищ герой Потанин скажет мне: поедем со мной, Маруся. У товарища героя наверняка есть квартира или другой товарищ герой, у которого уж точно квартира. И надо будет решать, ехать с ним или нет. Товарищи летчики приучены принимать быстрые решения. Когда товарищ герой еще в больнице лежал с простым сотрясением, он уже на Марусю смотрел глазами победителя. Не позволял себе ничего лишнего, но видно было, что может, если захочет, что так про себя и думает. Теперь было его время, а не Аркадия. Время Аркадия, чего он так и не понял, кончилось, когда было ему шестнадцать лет и он скакал на лихом коне. В двадцать был признан ограниченно годным и начал привыкать к другой профессии. Поначалу все у Аркадия получалось и был он молодое дарование, писал про войну и свои приключения, а дальше уже не получалось. Стал пить, возобновились припадки, мучившие его после контузии, и в этих припадках он себя резал. В одно из таких обострений загремел в Первую градскую, где служила Маруся, и как-то она его пожалела, да и была у нее тогда непростая любовь с женатым доктором, который теперь проживал в городе Ташкенте, потому что скрывал некоторые факты своей дореволюционной биографии. Но тогда доктор был еще на месте, продолжал приставать, и надо было его как-то забыть. Вот Маруся и забыла, а Аркадий был такой добрый, часто веселый, вырезал деревянные игрушки, завлекательно рассказывал, – она и подумала: двадцать два года, чего ждать? Опомнилась, а тут уже и Светлана. И все вошло в колею. «Колея» было слово, которое теперь чаще всего приходило ей в голову, когда она думала про свою жизнь и про то, что двадцать девять – это последний возраст, когда можно из колеи выпрыгнуть.

Пожалуй, подумала Маруся, если летчик Потанин сейчас это скажет, ехать ни в коем случае не надо. Подумаешь, победитель... Но он улетит в Хабаровск ставить свой рекорд и, может быть, не вернется. Это ужасное расстояние. Семь тысяч или сколько там, через всякие горы. И ему надо лететь в хорошем настроении. Он никогда не забудет, если я в эти последние дни перед полетом сделаю, как он хочет. И тогда вернется героем и сразу меня заберет. Такие вещи надо решать быстро. Хочу я с ним поехать? А может быть, и хочу.

Но летчик Потанин, видимо, думал о другом. Он ничего ей не предложил. Аккуратно доел мороженое, допил лимонад, положил немного сверх счета, тоже аккуратно. И оба они словно не совсем понимали, что теперь делать. В больнице все было просто. Там он много рассказывал про отряд героев, тренировки, перегрузки, про новый самолет РД, про тяжелый гидроплан АНТ, который садится на воду, обладая весом тридцать три тонны, – летающая лодка с

огромным бомбовым запасом, рекордсмен, лучший в мире. Там Потанин лечился, ему некуда было деваться, и Маруся слушала его рассказы, понимающе кивая, когда он в секретных местах понижал голос или умолкал вовсе. А теперь они могли пойти куда угодно. Там он просто болтал с медсестрой, а теперь он позвал на свидание замужнюю женщину. И Маруся не знала, что ей говорить, и только улыбалась смятенно.

Они пошли вверх по улице Горького, навстречу огромному плакату «Привет участникам съезда советских писателей!». Аркадия на этот съезд не выбрали, хотя все время называли молодым и талантливым. «Кой черт молодой, за тридцать мужику», – говорил он с остервенением. Все он что-то делал не то, шел не туда, а куда – объяснить никто не мог. «Ты все хочешь как лучше, – сказал ему однажды дряхлый ребе Рувим, как называл его Аркадий, хотя Рувим был старше лет на десять, – а ты попробуй как хуже. Немножко постарайся, и пойдет. И всем сразу понравится». Они часто выпивали с Рувимом, и Аркадий после этого слегка веселел, а потом снова замолкал.

Москва была красива, широка, пустынна – летним днем кто же без дела гуляет? Кто мог, в отпуск уехал на море, кто сумел, снял дачу под Москвой, как они, и все равно Марусе было непривычно, что она тут гуляет летом. Что-то в этом было не совсем правильное. Потанин молчал, и надо было вроде самой трещать про что-нибудь, но трещать не хотелось. Они шли рядом, он даже не брал ее за руку, хотя в больнице иногда сжимал ее ладонь, якобы увлекаясь, но почти сразу выпускал, потому что руками показывал передвижение самолета.

Вдруг он произнес:

– А вы правда на фронте познакомились?

– Почему на фронте? – спросила Маруся. – А, это он в книжке написал. Ну и так иногда рассказывает. Он это выдумал. Какой фронт, ты что. Мы всего семь лет женаты. А он придумал, что будто вошел их отряд в город, отбивал нас у белых. Что моего отца будто белые увели. А у меня отец умер, когда мне пятнадцать лет было. Никогда его не забирал никто, он был путевой мастер. Мы в Рязани жили. А с Аркадием мы в больнице познакомились. Он у нас недолго лежал, ничего серьезного.

Она сама не понимала, почему поспешила это сказать.

– Он хорошо пишет, жизненно, – похвалил летчик. – Я даже поверил.

– Ну вот видишь. – Маруся обрадовалась за Аркадия, хотя как будто отвыкала уже связываться с ним будущее. – А ему говорят: у вас дети неправильные. Говорят, где вы детей таких берете. Ему читатели письма шлют, вопросы, где живут эти ваши дети, хотим таких друзей, и все вот это. А в «Литературной» написали, что выдуманные дети и выдуманные разговоры. Представляешь, какая обида ему? Тебе небось не напишут, что ты нежизненно летаешь.

И снова засмеялась неестественным смехом.

– Про нас тоже пишут всякое, – успокоил Потанин. – Иногда такое пишут, что вообще никакого понятия.

И после некоторого молчания сказал:

– Поехали, наверное, Маруся, в Парк культуры.

– А там чего?

– Там Зеленый театр.

Марусе смешно стало: чего она, взрослая замужняя женщина, мать большой дочери, не видела в Парке культуры? Но не затем же она ехала с летчиком, чтобы съесть мороженое в кафе «Север». И не затем же приезжал летчик к ним на дачу, чтобы позвать ее в Зеленый театр. Что-то надо было придумать. Может, он мог бы свозить ее к себе на аэродром, покатать на самолете? Но, наверное, это был пока секретный самолет, и каждую новую знакомую не привезешь на нем кататься. И она поехала с ним на трамвае «Букашка» на другую сторону Садового кольца, и становилось все жарче, и Маруся вся вспотела, ужасно стыдясь этого.

В Зеленом театре, открывшемся весной, был перерыв между представлениями, и они сели на дальнюю скамейку.

– Маруся, – сказал вдруг Потанин очень решительно, словно только тут, среди зелени, набрался сил для разговора. – Такое дело. Когда летаешь много,

привыкаешь человека сразу видеть. Ну, как такая метка на нем. И он сам про себя знает. Когда Серегин разбился тогда на Байкале, я видел уже, что недолго. И сам он лететь не хотел, но стыдился. Что стариковские глупости и все это. Ну и вот, Маруся. Я про твоего мужа вижу, что недолго ему. Поэтому ты, Маруся, наверное, уходи жить ко мне.

Он это выговорил очень просто, как давно решенную вещь, и только морщил лоб, выдавая этим напряжение. Маруся не знала, что сказать. Она ждала, конечно, от него каких-то действий, но таких прямых? Никогда не знаешь, что будут делать полярные летчики. И она молчала, а Потанин принял это за согласие и стал развивать, как умел, свою мысль.

– Вот сейчас, – сказал он, – красная конница. Мы все уважаем и все такое. Но ясно же, что в современной войне красная конница будет играть роль вспомогательную. Она будет играть, конечно, но вспомогательную. – Это слово он выделил особо. – Будет решать все, вероятно, артиллерия дальнего боя... преимущественно гаубичная... и у нас, в небе, тоже многое будет решаться. Современная война есть война по преимуществу техническая, говорит товарищ Тухачевский, и в значительной степени танковая. В ходе такой войны кавалерия является чем? Она является пережитком. Это просто уже бойня, и для человека, и для коня. Смешались в кучу конелюди. И вот Аркадий твой такой – как среди современного боя кавалерист, и все понимает, но пересаживаться не может и не хочет. Я поэтому думаю, Маруся, что лучше тебе будет жить со мной.

Маруся, в красном платье, в сандалиях на босу ногу, была женщина очень красивая. То есть не то чтобы ее красота бросалась в глаза. Поначалу человек замечал быструю улыбку, словно Маруся что-то про всех понимала, и особую ловкость всех движений – черту, бесценную у медицинского работника. Врач, говорят, должен войти – и больному легче, а медсестра должна так поправить подушку, подоткнуть одеяло, чтобы пациенту особенно удобно стало лежать, а сам он и не догадывался, как сделать. Маруся удивительно была легка на руку, уколы ставила – залюбуешься, просто-таки хотелось уколиться, и видно было, что этот-то укол и спасителен. И красота ее была не яркая, но стоило хотя бы полминуты вглядываться в нее безотрывно, и все становилось ясно. В гармоничных чертах ее лица странно выделялся трагический излом бровей, словно хороший человек ни за что страдает. И нижняя губа была припухлая, такая, как будто бы выдает особое пристрастие к этим делам; в Марусином случае это отчасти была правда, что да, то да. Летчик Потанин именно так сейчас на нее и посмотрел, всю ее словно заново оглядывая, и ему опять

подумалось, что такая женщина должна летать на самолете, а не ездить на коне.

– Ты за меня не думай, – сказала Маруся довольно холодно. – Ишь чего, такой молодой, а уже как большой за всех решает.

– Я не решаю, – сказал Потанин с интонацией неожиданно мягкой, почти просительной. – Я вижу просто. Еще в больнице увидел, но вчера совсем ясно. Не надо тебе там, Маруся. Там скоро плохо будет.

– А с тобой, значит, хорошо?

Маруся понимала, что летчик Потанин желает ей добра. И человек он был хороший, но, как бы сказать... Ведь вот беда, все эти люди тридцать четвертого года чувствовали гораздо сложнее и ярче, нежели, скажем, тридцать лет спустя, но у них совсем не было слов для выражения всех этих ощущений. Как летчик, передвигаясь на колоссальных для тех времен скоростях, немыслимых пятистах километрах в час, видит дальше, так и они очень много всего видели, еще больше чувствовали, но толком не могли выразить. Причины тому были разные: и страх, который их всех давил, и нежелание признаваться себе, что их занесло не туда, и попросту необразованность. Ну какие были университеты у Маруси, что она видела, кроме своей больницы и нескольких мужчин, с которыми сходилась? Но звериным своим умом она понимала, что летчик Потанин – он вроде вот этой пустынной летней Москвы периода реконструкции: все перестраивается, и это должно быть весело, но почему-то совсем не весело и жить в ней неприятно. Все как бы обязаны были радоваться просторным заасфальтированным площадям и тому, как все похорошело, и никто ничего не говорил прямо. Вот и старый Крымский мост будут перевозить вниз по реке, а тут построят новый. И самолет летчика Потанина очень хорош, необыкновенно, но ведь жить в этом самолете нельзя и летать неудобно, дышать трудно. Он ей много про это рассказывал.

Летчик Потанин молчал, не решаясь прямо сказать Марусе: с ним-то будет ей хорошо. Летчики, в особенности полярные, были честные ребята.

– Вообще, – желая его утешить, сказала Маруся, – Аркадий действительно как с ума сошел. Вчера любимую чашку мою разбил. И не признается.

- Чашку? - переспросил Потанин. - Это плохо, что чашку. Это даже примета у нас такая есть, что если кружку разбил или стакан - в рейс не ходят. У нас поэтому на базе стаканы небьющиеся. Я как раз тебе подарить хотел.

Он вынул из своей плоской летной сумки красный пластмассовый кругляш, слегка потряхнул его - и из кругляша образовался стакан, прозрачный, с довольно толстыми стенками, имевший столь же надежный вид, что и вся летная экипировка: летные куртки, шлемы, планшеты, все, что Маруся видела.

- Мне еще дадут, - сказал Потанин. - Вещь хорошая.

- Его дочь очень любит, - сказала Маруся. Как раз на эстраде пионеры читали монтаж про то, как прекрасно им живется. - Я сама не понимаю, как она так? Вся в меня, а любит его. И он как начнет обижаться на что, так хватает ее в обнимку и сидит, глазищи выкатив. И он больше с ней сидит, чем я. Я работаю, а он дома пишет. Когда она не в саду, то все время с ним. Что он из нее сделает - понятия не имею.

- Ну а со мной проще, - сказал летчик. - Меня нет все время.

- Тоже хорошо, - засмеялась Маруся, но невесело.

На треугольной, карточным домиком, эстраде появился немолодой жирный человек и стал рассказывать стихами про фашизм.

- Вообще, - сказала Маруся, - я, очень может быть, и подумаю. А вот скажи, товарищ летчик, почему ты меня к себе не пригласил на свой аэродром?

- Чего хорошего для тебя на аэродроме, скучно. Работают все.

- А тут чего интересного?

- Ну как... - сказал Потанин. - Зелень.

Зелень в самом деле раскинулась вокруг в прекрасном изобилии, словно ее сюда вытеснили со всей Москвы и ни в чем не ограничивали. Но было видно, что Потанин, человек быстрый, где-то уже не здесь, а по пути в свой Хабаровск, по

ледяным безвоздушным пространствам, откуда звезды выглядят совсем страшно. Маруся попыталась вообразить, как ей было бы с ним спать. Аркадий кричал во сне, но все остальное было хорошо и даже замечательно. Правда, в последний год он проявлял мало желания и даже спать стал в майке, словно начал стесняться своего тела. Он действительно немного пополнил. А вот с летчиком Маруся себя не представляла. Она думала, вдруг он начнет вести себя как железная машина, с которой он на своих высотах имел дело. Что-то было в нем такое... Явно хороший, но хороший в том смысле, в каком летающая лодка РД лучше предыдущей, что поднимала меньше тонн. И у него какие-то рычаги, нажимать на них надо еще специально учиться.

- Алё-алё, - сказала Маруся, - прекрасная маркиза! Я говорю, что подумаю.

- Подумай, конечно, - согласился летчик. - И переезжай. Меня правда часто нет, ты со мной не соскучишься.

Он проводил ее до Брянского вокзала, откуда шла электричка до их дачной местности, и на прощание взял за локти, прижал к себе и крепко поцеловал, причем Маруся не возражала. Но то, как старательно он ее поцеловал, словно перевыполнял какой-то норматив, внушило ей странную мысль: она тоже, словно летчик, привыкший к большим скоростям, поняла вдруг, что из Хабаровска-то он еще, может, и вернется, а вот потом непонятно. И как-то это от нее зависело, хотя она не понимала как.

От станции Марусю подвез до поселка старик Федосеев, человек угрюмый, но представлявшийся ей в этот мягкий розовый вечер необыкновенно сердечным. Он кого-то отвозил и собирался ехать обратно, ну и чего ж было не взять. Ее все тут любили. Уютно, мягко ступала старая лошадь Сивка, уютно было приближаться к даче, и только одно ее тревожило: красный стакан. Этот плоский кругляш, при встряхивании мгновенно превращавшийся в толстостенный, надежный, прозрачно-алый сосуд, жег ей карман платья. Платье тоже было красным, но иначе красным. Стакан не надо было брать. Маруся словно взяла душу летчика Потанина и за нее отвечала. Но пока она ехала с Федосеевым, ей стало казаться совершенно невозможным, что она уйдет от Аркадия, куда-то увезет Светлану, будет ждать летчика из его Заполярья. Она окончательно вернулась в колею, и дорога, по которой везла их Сивка, была знакомая и родная, хотя жили они тут всего две недели. Маруся скучала по Аркадию, будто рассталась с ним не утром, а неделю назад. Ей хотелось кормить ужином Светлану. А чтобы все это получилось и дальше не надо было ничего

выбирать или менять, требовалось немедленно принести жертву, отдать что-то, и Маруся достала из кармана красный кругляш.

– Федосеев, – сказала она, – смотри, какая техника! Как ты это говоришь? Наука все превзошла!

Она потрянула плоскую красную вещь, и получился стакан.

– Ничего, – сказал Федосеев без выражения. Он бормотал себе под нос про то, что строят новую дорогу к поселку, а где строят? Не там строят! Дорогу надо прокладывать там, где раньше лежала колея, где люди протоптали, иначе по ней езды не будет.

– Ты погляди, – продолжала Маруся, – вот так ее в карман положить можно, а так раз – и водку пить!

– Смотри ты, – равнодушно заметил Федосеев.

– Ты бери, бери, мне еще дадут, – настойчиво сказала Маруся. – Бери, попьешь водки когда-нибудь, друзьям своим покажешь.

И старик Федосеев, кивнув, равнодушно опустил редкую дорогую вещь в необъятный карман, где кроме махорочной трухи наверняка лежало много еще таких же чудесных вещей, содержащих чужие души, и каждая душа была в этом кармане в совершенной безопасности. Может быть, в этом и заключается тайна долгой жизни летчика Потанина, который не погиб даже тогда, когда все его товарищи и большая часть инструкторов погибли еще до войны, все из-за разных случайностей, в разных полетах, а он прошел войну и умер в неизвестности, когда у страны уже были совсем другие герои. Аркадий сам ушел от Маруси спустя два года к редакторше своей новой книжки, а Маруся вышла замуж за врача и умерла в эвакуации от туберкулеза. Светланка же выросла большая и никогда ничего про красный стакан не узнала.

Когда Маруся пришла домой, Аркадия со Светланой еще не было. Ключ висел на гвозде у двери. Маруся встревожилась. Черт его знает, куда он, больной, потащил ребенка. Ей невыносимо было сидеть в пустом доме, который медленно мерк и остывал после жаркого дня, и не хотелось палить керосин. Она влезла по приставной лестнице на крышу, где лежала давеча сколоченная Аркадием

вертушка. Сколотить сколотил, а прибить не успел, она их со Светланой согнала с крыши. Молоток и два гвоздя по-прежнему лежали тут же. Надо было что-то сделать, чтобы они скорее вернулись, и Маруся, сама себя ругая, стала приколачивать вертушку. И ровно в момент, когда вертушка затрещала под ветром, на повороте дороги показались уже едва различимые в сумерках Аркадий со Светланой.

Светлана первой увидела мать на крыше и побежала к ней с писком. Маруся толком не разглядела, что у нее было в руках, и только потом обнаружила, что Светлана тащит явно блохастого котенка, подобранного бог знает где.

– Мы тебя простили! – пищала она. У них всегда все было продумано. Маруся не успела начать ругать их за котенка, а они уже простили ее, и теперь она опять выходила одна против них двоих, и притом виноватая.

– Признавайтесь, где вы были, пыльные люди, – сказала Маруся устало.

– Мы тебе принесли средство, – сказал Аркадий. – Важное средство. Оно сделает так, что мыши не будут больше бить посуду. Ведь это мыши, да?

– И склеить можно! – заорала Светлана, действительно убежденная, что склеить можно все.

Аркадий подошел к Марусе ближе и стал долго смотреть таким особенным писательским взглядом, какого она терпеть не могла. Взгляд этот как бы говорил ей, что за этот день, проведенный врозь, они что-то важное поняли, и все у них теперь пойдет замечательно. Для рассказа, который он собирался написать, все, может быть, так и было, но не в жизни. Но она не стала ему ничего объяснять, улыбнулась в ответ и стала стелить постель.

– Ну вот, – сказал Аркадий, беря на руки Светланку. – И жизнь, товарищи, была совсем хорошая.

Но понимал: не совсем, далеко не совсем.

Впрочем, рассказ он уже придумал.

Глава первая

Прыжок

1

Все началось – или кончилось – 20 июня 1937 года, когда упала Люба Лондон. Так показалось Бровману два года спустя, и он достал дневник, чтобы перечитать все про этот день.

В семь утра за ним приехал редакционный шофер Спасский, и они рванули на Люберецкий аэродром. Небо было промытое, улицы пустые, настроение прекрасное. Испортили им это настроение, когда не пропустили на Рязанское шоссе. Шоссе перегораживал грузовик, и постовой всех разворачивал. Бровман понял, что придется махать удостоверением. Он этого не любил.

– Товарищ, – сказал Бровман уважительно, однако без просительности. – Мы едем на затяжной прыжок, «Известия».

– Все понимаю, товарищ. Розыскное мероприятие.

– Но нам в номер писать про это. Мы не можем опоздать.

– Никто не опоздает. В объезд попадете.

– Пока будем объезжать, они уж прыгнут, – сказал Бровман уныло. Он понял, что ничего не добьется.

– Никто не прыгнет, проезд всем закрыт. Дольше разговаривать будем.

Бровман никогда не спорил с милицией и только со злости хлопнул автомобильной дверцей.

- Обломись, - сказал он Спасскому. - Ищи объезд.

- А тут чего?

- Не знаю. Серьезное что-то. Не говорят.

- Шпиона ловят, - предположил Спасский и развернулся.

Долго они ныряли по каким-то ему одному ведомым закоулкам, вырвались в дачную местность, проехали мимо большого пруда, петляли, поднимая клубы пыли, и проезжали дачные улицы. На дачах, несмотря на ранний час, старухи уже копались в грядках, мелькнул гамак с солидным мужчиной, девушка в купальнике ловила раннее солнце. Никому из них Бровман не завидовал: они и не знали, что люди едут на историческое событие. Наконец выехали на относительно ровную грунтовку и подкатили к аэродрому с неожиданной стороны.

- Ты откуда этот маршрут знаешь? - спросил Бровман.

- Жили мы тут недалеко в деревне в прошлом году. Летом тоже.

Они успели, никого из газет еще не было, только «Союзкинохроника» расставляла аппаратуру. Бровман, как всегда, боялся, что правдисты приедут раньше, хотя писать всем предстояло об одном и том же, - но мало ли. Машбица не было. Минут через двадцать подъехали начальник летного отдела Осоавиахима Буров, неприятный, заносчивый и грубый, испытатель Сергеев и с ними в машине Машбиц. На Бровмана он смотрел пренебрежительно, прокатился с начальством, примазался. Он и теперь шел за Буровым, прислушиваясь искательно. «Черт его знает что такое», - сказал Буров. Их тоже развернули, почему - никто не сказал. Вероятно, что-нибудь исключительное.

Еще через десять минут приехали Лондон с Ивашовой, и Бровман был вознагражден: Люба ему помахала. Он с ней за неделю до прыжка, когда не было еще разрешения от наркома, сговаривался вместе писать письмо Сталину. Год назад, когда вожди посещали аэроклуб, Люба дала обещание прыгнуть с затяжкой в шестьдесят секунд, перекрыв мировой рекорд, и сегодня должна была выполнить обещание. Писать, уверяла она, ей гораздо трудней, чем прыгать. «Лёва, вы напишете мне, да?» Книгу свою «Записки парашютистки» она

через пень-колоду, после долгих отнекиваний, наговорила Исаеву, постоянно приговаривая: «Да кому интересно?» И действительно вышло неинтересно, потому что главное она переживала в полете, а про это никто рассказать не мог. «Я больше всего люблю, когда запахи появляются. Летишь – там запахов нет. А когда уже дернешь кольцо, уже ясно, что хорошо все, – тогда метров за двести начинают наплывать: цветы, трава. И уже вокруг воздух теплый». Про ощущения в затяжном прыжке, говорила она, рассказать нельзя, но при этом в полете она действовала четко, как машина. Вообще, в Любе мало было романтики. У них с Булыгиной были свои поклонники, сырихи, как у Лемешева с Козловским: удивительна эта парность во всем. Булыгина – та была вся огонь и непосредственность. Когда Ворошилов награждал парашютистов – расспрашивал, показав глубокое знание предмета: как крепить секундомер? как не дернуть кольцо инстинктивно сразу после прыжка? как избежать штопора? Булыгина, чернявая, стремительная, щебетала про чувство полета и рассказывала, мило смеясь и рассчитывая на такой же милый смех, что сама себя сразу после прыжка левой рукой за правую хватает, вот правда, товарищи! Сразу влюбленные улыбки. Лондон, прямая, основательная, рассказывала о личной методике: как же не войти в штопор? В затяжке – обязательно войдешь. Я когда прыгну, первые десять секунд лечу прямо, ноги сжаты. Потом начинает крутить – ну, я кручу в обратную, но это не всегда возможно. Тогда разводишь ноги и резко выбрасываешь левую руку, а правая – на вытяжном кольце. Несложно, в общем. Главное, чтобы спокойно. Вожди слушали, кивали, и видно было, что Булыгина им нравится больше. А летчики любили Лондон: академик девка, сказал Машевский, который летал с ней на планере.

Дружила она только с Тamarой Ивашовой, самой тихой и долговязой, выше иных мужчин, во всем парашютном отряде; о чем уж они там меж собой говорили, Бровман не мог представить. Было у них взаимопонимание без слов, и потому им так удавались синхронные прыжки, от которых столько восторгов выслушали при поездке наших в Румынию. Король Кароль вручал им тогда знак доблести.

Ивашова и сейчас молчала, а Лондон строго ответила кинохронике: у нее это пятидесятая затяжка, круглое число, долго непонятно было, дадут ли разрешение, но в шесть утра синоптики сказали – да. Волнения перед прыжком давно нет, одно волнение – не перетянуть. «Я на первом еще прыжке затянула, ждала двадцать одну вместо пятнадцати. Тут надо на семистах раскрыться, ниже опасно». «На тысяче!» – веско сказал Буров. Ему лично Ворошилов сказал: за каждую из этих девочек отвечаешь головой, и погрозил пальцем.

Бровман подошел поздороваться и напомнить, что им вместе писать. «Мы сегодня хорошо прыгнем, увидите, – сказала Люба. – Небо видите какое? Я прямо счастливая с утра. Только вы как будете писать, не пишите „Лондон“. Миша обижается, он хороший у меня. Напишите Лондон-Ефимова». «Даже могу его фото вместо вашего», – пошутил Бровман. Миша ее был ничем не примечательный, тихий мальчик, она подобрала его в музыкальном техникуме, где занималась серьезно и безнадежно: любовь к музыке была большая, способностей ноль. Люба запрещала ему приезжать на аэродром.

И дальше страшно быстро все задвигалось: Буров дал команду, все побежали к самолету. Тот резко ушел на высоту, набрать предстояло семь шестьсот, и потянулось ожидание, пять, десять, двадцать минут, и Бровман, отличавшийся чутьем на такие вещи, почувствовал, что у него в начинающейся жаре холодеют ноги, а на мужа Ивашовой, такого же долговязого Олега, он смотреть боялся. Понятно уже было, что пошло куда-то не туда, но не было еще чувства, что окончательно. Была надежда, что снесло к Ухтомской, туда дважды приземлялись на тренировках, – но стремительно спустился и заскакал по полосе, с трудом тормозя, Шабашов, к нему побежал Буров, и Бровмана поразило потерянное, детское шабашовское лицо: на двух тысячах он потерял парашютисток из виду, спустился – никого. Подъехала карета скорой, Буров прыгнул в нее, уехали, кинохроника тупо стояла, не зная, что делать. Подбежали мальчишки, видимо деревенские, и, тоже прыгая, заорали: они там упали! Бровман побежал, Машбиц неловко за ним, но на пути была колючая проволока – откуда, с чего? За проволокой был виден метрах в трехстах осевший, полураскрытый парашют, белый, самый прочный. К нему бежали с носилками, что-то делали, потом отошли.

С мужем Ивашовой случилось страшное, он катался по траве, рвал ее и выл. Подошел Буров и махнул рукой. Бровман узнал потом, что секундомеры разбились, но с вышки ему рассказали, что парашюты стали разворачиваться на двухстах метрах, раскрыться толком не успели, да и не могли. Врач буркнул, что у Лондон ни одной кости целой, у Ивашовой сломаны все ребра, и что заставило их в прыжке так перетянуть – непонятно. Бровман хотел заглянуть в лица, понять хотя бы, мгновенно или нет, и, может, по выражениям угадать причину, но Буров всех прогнал.

Ведь как-то они одевались с утра, застегивали комбинезон... Бровман всегда думал о том, как человек одевается в свой последний день, не зная, что он последний. Старик, понятно, умирает в своей постели, но герой, убитый на

баррикадах, за секунду до этого говоривший с друзьями... В Музее революции в новой экспозиции к тридцатилетию пятого года Бровман видел кофточку Люсик Люсиновой, пробитую пулей юнкера, – ведь надевала она с утра эту кофточку? Что было на Любе, он не видел под меховым комбинезоном. А ведь спала с мужем в эту последнюю ночь, еще и прощалась буднично, как всегда, но наверняка что-то чувствовала, – Бровман и сейчас, припоминая, пытался в последнем разговоре с ней поймать это предчувствие. Укладка парашюта? Люба с пятого прыжка укладывала сама, говорила об этом всегда: полагаться на укладчика – барство. У нее были уже, как она называла, внуки – ученики учеников, и тоже всегда все сами. Особенно же Бровман не мог теперь понять, как это – человек прыгнул с семи тысяч метров, зачем? Он обычно таких вопросов не задавал, но теперь все увиделось ему совсем абсурдным. Люди будущего, с которыми он часто вступал в мысленный диалог, – поймут ли они вообще, что? все эти мужчины, собравшиеся на Люберецком, здесь делали и почему две женщины упали с семитысячной высоты?

Надо было ехать в редакцию и как-то отписываться, но Бровман не понимал, как он будет сейчас это делать. Не сказать чтобы его знакомые не бились – Бровман видел катастрофу «Горького», знал не меньше пяти человек оттуда, – но там по крайней мере ясны были причины и он ни с кем не говорил перед полетом. Здесь же он был последним, кто перемолвился с Лондон перед стартом. Может быть, если бы он сказал ей что-то другое... Вдруг именно он и высказал нечто роковое? Этого не могло быть, все бред, и почему-то ему казалось, что все из-за объезда, что во всем виновата милиция, ловившая на Рязанском шоссе неизвестно кого.

2

Артемьев говорил, что его жена села в машину и уехала, и он не знал куда. А между тем она не взяла с собой ничего и не забрала у портнихи платье. Теперь его жена находилась в пяти мешках, собранных 19 июня на Рязанском направлении, в лесу вдоль шоссе, и найдено было не все, но соседи опознали кусок клеенки, в который завернута была изуродованная, с вырезанными глазами голова. Первый мешок обнаружил грибник, удивительно бодрый старик, навидавшийся всякого; по спокойному его виду сначала в нем и предположили убийцу, но выяснились всякие обстоятельства. Спокойствие свое при виде трупов старик приобрел в Гражданскую, а жена Артемьева как раз пропала неделю назад, и через два дня об ее исчезновении заявила сестра, а спустя еще

два дня пришел в милицию сам Артемьев. Он не отрицал, что поссорился с женой в последний вечер, она убежала, он из окна видел, как села в какую-то машину и пропала. После заявления сестры еще решили подождать, после заявления Артемьева насторожились, а тут и старик с головой. Против Артемьева говорило прежде всего то, что он патологоанатом, то есть способен был разделать тело грамотно; однако неизвестно было, жена ли в мешках. Сам Артемьев утверждал, что совершенно не жена. Трудность была в том, что на теле оказались уничтожены все особые приметы, даже и возраст определялся весьма приблизительно – от тридцати до сорока; скальп снят, на ноге срезаны обширные участки кожи – медэксперт сказал, что, видимо, убирали родинки. С выдающимся хладнокровием проделано, сказал он, и видна, скорее всего, рука либо опытного убийцы, не впервые скрывающего следы, либо... тут медэксперт усмехнулся... кого-то из коллег.

За дело взялся Фомин, у которого, говорили, и камни кололись. Но он был не коновал и не дуболом, человек с образованием и логикой. Могла женщина уехать после ссоры? Почему же нет. Могли убить другую женщину сходного возраста? Безусловно. Могло быть случайным совпадением то, что Артемьев затеял ремонт в комнате жены на другой день после ее исчезновения? Даже естественно. Желал уничтожить все следы пребывания женщины, заподозренной в измене? Бывает. Это был у Фомина прием, с молодых лет, – представлять себе версию невинности подсудимого. Пусть будет все, как он говорит, тогда легче ловить на противоречиях. Вы вот так сказали? Допустим. Но про Артемьева странным образом хотелось верить, что он невиновен. Ощущение было такое, что за ним стоит настоящая правота, сила, от имени которой он рассказывает. Обычно же у Фомина было чувство, естественное для следователя: что всякий допрашиваемый уже виновен, не в этом, так в другом, и вопрос был – только найти и предъявить вину. Но Артемьев был как бильярдный шар – твердый, со всех сторон блестящий, его было не взять, и он как бы предлагал сыграть в игру. Допросы Артемьева были довольно приятным делом. Фомин ловил себя на том, что даже и хочет убедиться в его непричастности. Даже казалось, что за это что-то хорошее будет.

Артемьев, как и Фомин, был профессионалом, а профессионалов Фомин любил. Он даже как-то, черт его знает, сочувствовал, хотел, чтобы Артемьев оказался не виноват. А сам обвиняемый как раз ничего для этого не делал, никак себя не выгораживал, Фомин уж начал было думать, что надо ему подсказать, что ли. Но тот отважно пер напролом, словно не знал за собой никакого греха: да, начал ремонт в комнате жены. И смотрел прямо следователю в глаза, только что не подмигивал. Глаза у него были удивительно ясные. Это потому, говорил он, что

ее напоминало многое, понимаете? Так что же, спрашивал Фомин, вас это пугало, что ли? «Почему пугало. Раздражало. Мне и сейчас не очень приятно знать, что я тут сижу, а она где-то гуляет». И Фомину легко было поверить, что да, гуляет.

Что еще располагало к Артемьеву – симпатия коллег; сразу же началось заступничество. Чаще всего в таких случаях не заступается никто – может быть, потому, что сами подозреваемые были люди незначительные и сознавались во всем сразу, даже и в том, чего делать не могли. Они так боялись, что явно были виноваты, и все их тотчас сдавали, начиная припоминать, что и прежде эти люди произносили сомнительные речи, а иногда без отдачи брали деньги. Про Артемьева же соседи говорили только хорошее, видно было, что человек сумел себя поставить. Правда, клеенку они опознали, ибо такова природа соседей. Но больше ничего компрометирующего из себя выдавить не могли, да и правда – жена Артемьева, в девичестве Анигулова, была, по-видимому, женщина свободного нрава. Младше мужа на семь лет, она не работала, могла позволить себе. Первый ее брак был недолгий, а кто изменил в двадцать, изменит и в тридцать. И эти портнихи, парикмахерши, все это... Фомин сам был в разводе уже пять лет и понимал, что в последнее время, когда жить стало лучше и веселей, с женщинами стало твориться странное, прямо как в буржуазной Европе. В воздухе запахло пудрой «Кармен».

Например, некто Волынец, уроженец Гомеля, ныне директор магазина, отправился с женой покупать ей шубу. Эту шубу продавала портниха Никанорова, проживающая в городе Люберцы. Допустим. Откуда он узнал о шубе? С ним работала племянница этой портнихи, все проверено, действительно работала. Воскресным утром они садятся в электричку до станции Черусти.

Жена была беременна, и в переполненном вагоне ей стало дурно. Она сказала, что пойдет в другой вагон, где свободнее. Муж туда ее отвел. Тут она на остановке вдруг, пользуясь относительной свободой, прыг из вагона! Муж за ней, но куда! – так сказать, черусти сомкнулись. Рвануть стоп-кран у него не хватило решимости. Следующая остановка Люберцы. Муж искать, дошел даже до портнихи (портниха подтвердила), но в этом не было вовсе уж никакой логики: ведь деньги у него. Что, жена решила самостоятельно добраться до портнихи? Абсурд. Муж доезжает до станции Коренево, на которой выпрыгнула жена, но ее, разумеется, на платформе нет. Или он ожидал, что она будет там рыдать на станции? Раскаиваюсь, прости? С надеждой вернулся домой – там ее нет. На другой день заявил. Но многое насторожило.

Во-первых: откуда деньги на шубу? Волынец честно заявил, что шуба стоила двести пятьдесят рублей. Каким образом скопил? Ответы невнятные. Где-то занял, что-то выгадал на продаже наследственных ложечек. Дальше: жена перед уходом особенно долго прощалась с матерью, плакала, говорила об ужасном предчувствии. Разумеется, все это бабьи сказки, но почему бы не поверить предчувствиям, особенно если учесть, что Волынец очень к себе не располагал? Он нервничал, мялся, жили они не слишком ладно. Соседи, как всегда, с готовностью подтвердили: кричал, несколько раз жена рыдала. В магазине, как водится, не все хорошо с отчетностью, и, несомненно, спекулировал – есть должности, на которых это входит в профессию. И неужели он не мог найти шубу ближе Люберец? Что, цена прельстила? Так цена была не самая низкая. Кой черт ехать в Люберцы киселя хлебать? Конечно, бешеной собаке семь верст не крюк, но тащить беременную, на шестом месяце жену покупать шубу, которая к зиме явно станет велика? Словом, многое не сходилось.

Тогда Боброва, замечательного следователя, уже напечатавшего два криминальных рассказа, осенило: конечно, они вышли вместе, и конечно, искать ее надо где-то в лесу между платформами Коренево и Люберецы-вторые. Организован был розыск с собаками, и что же? В лесу собака действительно нанюхала едва прикопанный труп. Что делает Бобров? Он желает немедленно, на месте преступления получить признание. К трупу ставят охрану, сам же Бобров едет за Волынцом, который к этому времени уже предусмотрительно посажен, и начинает раскапывать при нем. И что же мы видим? При первом появлении туфли из земли Волынец истошно вопит: «Осторожно, вы пораните ей НОЖКУ!» Эта НОЖКА совершенно добила Боброва: он и так-то не выносил никаких сантиментов, а в исполнении убийц – тем более. Извлекается женский труп в состоянии сильного разложения, даже слишком сильного для прошедшего месяца, но то-сё, лето, и хотя возраст трупа определяется с некоторой приблизительностью, беременность налицо. Налицо и мотив: у Волынца была любовница, что охотно подтвердили в магазине, а с женой он действительно непрерывно скандалил. Волынец клянется, что за всю жизнь не обидел и мухи, но коллеги радостно утверждают, что кричал, да, был вспыльчив, а также отпускал с черного хода темным личностям. В личности Волынца не находят ни единого светлого пятна, и удивительно, как еще на девятнадцатом году революции мимикрируют среди нас под порядочных такие выродки. Происходит ужасный публичный процесс, на котором клеймят Волынца как двойного убийцу, причем достается всем директорам магазинов. Бобров абсолютный триумфатор, пишет и почти уже печатает третий рассказ, Волынец, естественно, получает свое и пытается удавиться еще в камере, но спасают и

расстреливают законным путем – и тут жена Волынца обнаруживается, и где же – в городе Армавире!

То есть произошло совершенно невероятное: жена, действительно беременная (но, как выясняется, не от Волынца), страстно желая воссоединиться с отцом ребенка, красавцем портным Апресяном, не в силах более терпеть старого нелюбимого мужа, бежала, повинувшись внезапному импульсу! Но как же вы, зная, что ваш муж приговорен... Ах, вы не знаете. Он истязал меня, он буквально насиловал, и кроме того, вы сами вскрыли недостачу и множество темных дел; уверяю вас, это вершина айсберга! И что прикажете делать с этой воплощенной невинностью, с ее красавцем портным Апресяном, а за ним тоже наверняка водятся темные дела, что опять-таки входит в профессию, с ее идиоткой матерью, которая ничего не заподозрила, и с новорожденным – уж он наверняка вырастет такой же дрянью и со временем прихлопнет родителей, как удивительный отрок Травин, в тридцать шестом году пришивший отца и мать и пойманный уже в Сочи за распитием пива с другими юными подонками?! И главное, кто же убил ту беременную меж Корневым и Люберцами?!

В придачу выясняется, что Волынец в юности трогательно заботился о двоюродном брате, который немедленно дает показания, и Волынец полностью реабилитируется, а Бобров с понижением переводится из убойного отдела в отдел разбойных ограблений, где ему, напутствует товарищ Урусов, будет достаточно материала для его графомании. И это заставляет нас с удвоенным вниманием относиться к случаю гражданина Артемьева, который так убедительно, так понимающе улыбается. Профессионал – профессионалу. Увлекательный поединок, как написал бы товарищ Бобров, если бы сохранился в нем писательский зуд.

Артемьев смотрел на следователя Фомина со странным состраданием. То ли он хорошо его запутал и сочувствовал, то ли чувствовал в нем товарища по семейному несчастью, пострадавшего по женской линии. А может быть, иногда казалось Фомину, он смотрит на него чуть свысока. То ли потому, что он человек какой-то новой породы, очень спокойный. А то ли потому, что Фомин свою жену отпустил, а Артемьев свою – убил.

Но принимать меры Фомин не спешил, потому что слишком недавно был Волынец, а главное – слишком не хотелось трогать Артемьева. Прямо страшно было его трогать. Временами, глядя в его исключительно спокойные глаза, Фомин понимал его жену, которая от него сбежала.

Со стратостатом «СССР-3» тоже не обошлось без предвестий, на этот раз куда более явных. Это было уже после установки у Бровмана личного телефона, в начале сентября. Ночью звонком разбудил Порфирьев, голос у него был веселый и нервный: разрешили, говорю тебе первому. Когда? В семь утра. Что же, будем; Бровман высвистел из редакции Спасского, рванули на Поклонную гору, прибыли к пяти утра. Ночи были уже холодные, и пахло гарью, как часто бывает осенними ночами. Спасский привез сегодняшние «Известия», Порфирьев небрежно их сунул за приборы – обещал посмотреть в воздухе. И тут началось. Это был первый подъем с двойными стропами, системой как бы постепенного старта, которой Бровман толком не понимал: почему-то важно было на взлете иметь короткие стропы. На первой сотне метров они удлинялись, и стратостат набирал полную свою высоту («А то ветерок», – объяснял Порфирьев, но Бровман все равно плохо понимал: наверху же тоже ветерок). Еще одно нововведение – сетка, наброшенная на корпус: пока его надували, корпус должен был висеть неподвижно, вот эту неподвижность давала сетка. Потом ее можно было сбросить, попросту дернув за веревку. Бровман стоял задрав голову и смотрел, как серо-желтая прорезиненная поверхность расправляется и блестит в прожекторных лучах: машина была крупная, 157 тысяч кубов, рассчитанная минимум на двадцать пять километров высоты. Практической пользы в стратостатах не видели, в верхах на Порфирьева как на больно резвого энтузиаста смотрели косо. Девять стратостатов у него за время тренировки погибли от самых идиотических случайностей вплоть до молнии, к счастью, без людей. Но Порфирьев лично пошел к Ворошилову и ради обещанного, подкрепленного всеми клятвами нового рекорда разрешили взлет.

Со странным чувством смотрел Бровман на конструкцию, которой предстояло через час оторваться от земли и уйти к полудню на двадцать пять километров вверх – высота, представимая только абстрактно, потому что это почти космос, по крайней мере уже чернота. Страшно разреженный воздух, фиолетовое небо – Порфирьев, несколько рисуясь (и сам над собой улыбаясь), говорил, что таких красок на Земле нет и, раз увидев, будешь всегда к ним тянуться, как альпинист всегда тянется в горы, где дефицит кислорода порождает в нем особенный вид эйфории.

Сейчас еще можно было канаты потрогать, с таким же ощущением, с каким восьмилетний Бровман отпускал по Днепру самодельный кораблик, сооруженный и оснащенный по всем правилам, – к технике душа лежала с детства, такелаж с предназначением каждого паруса был нарисован в «Роднике», где также был и недурной шахматный отдел. Бровман был тогда Лёва, Лёвушка, но уже знал, что будет писать и путешествовать. И он представлял, что корабль его дойдет до Черного моря, а потом по проливам до Средиземного, а оттуда, пусть уже и потрепанный, в океан, самый интересный из океанов, хоть и всего лишь третий по размеру, зато омывающий любопытнейшие государства, куда не достиг еще прогресс. Лёва виделась туземная девочка фантастической красоты, тонконогая, белозубая, залиvisto хохочущая, – вот она выловит его корабль из воды, а десять лет спустя приплывет и он сам, чтобы, разумеется, опознать ее по этому кораблю, так и стоящему с тех пор в ее лачуге. И странно было думать, что вот сейчас он кораблик держит – а потом упустит навсегда и увидит только через десять лет; поэтому Бровман, повинувшись непонятному порыву, зашел в воду по колени и вернул корабль, а потом все-таки отпустил, ибо предназначение корабля – плавать. Мальчик создан, чтобы плавать, мама – чтобы ждать, как писала в молодости одна очеркистка.

И тут началось: знаменитая сетка не снималась, заело. Порфирьев отчаянно дергал – результата ноль. Что делать? Для предстартового осмотра надули перкалевого «прыгуна» – малый шар вроде тех, на каких развлекались в парке Горького, Бровман попробовал однажды – едва не лишился сознания; однако тут быстро снарядили красноармейца, он стремительно улетел на пятьдесят метров, но на высоте что-то сделал не так, соскользнул с крошечного сиденья и чудо еще, что зацепился за одну из строп; кое-как, в дымящихся рукавицах, спустился. Шар улетел, видно было, что понесло его прочь из города, на Можайск. На Порфирьева страшно было смотреть. «Ну, хлопцы, – закричал он, – кто сможет?!» Малорослый бурят взял в зубы нож и полетел; у этого все получилось, он причалил к оболочке и разрезал сетку, но после приземления вспомнил, что забыл там нож. Крепко же икнулось его матери, когда Порфирьев сказал все что думал! Послали третьего, и он вернулся с ножом. Все кинулись расспрашивать: разрезов, повреждений нет ли? Он ничего не видел, клялся – все цело. У, сучье племя, выл Порфирьев. Старт задержался на час, а между тем поднимался ветер, и ветродуи, как называли синоптиков, переглядывались нехорошо. «В гондолу!» – заорал Порфирьев; Бровман хотел попросить групповой снимок перед стартом, но не решился. Успел только сказать Прилуцкому: «Помаши мне оттуда газетой, там, за приборами», и снова все пошло пожарным темпом: взвесили, отрегулировали балласт, Порфирьев

спустился в последний раз, попрощался без обычной улыбки и полез назад. Раздалось непременно, странное, почти бурлацкое «Дай свободу!». Отцепили канат. С крыши гондолы герой дня крикнул: «Есть в полете!» Кругом заплодировали, но вяло. Машина быстро шла вверх, небо развиднелось, день предстоял ясный и сияющий, и в этом сиянии – шло уже к девяти утра – стало вдруг ясно видно, что поначалу ровно поднимающийся стратостат вдруг пошел вниз; что-то они там подрегулировали с балластом и стали подниматься снова, но на тысяче метров, когда изменившимся ветром сносило их к центру, опять что-то случилось. Бровман почувствовал знакомую, тошную тревогу – и первым побежал к своей машине.

– Дуй, Витя, – сказал он Спасскому, – дуй на шоссе.

Тот понял все и рванулся с места. Бровман только успел сказать: «Похоже, не приносим мы больше удачи», – но Спасский зыркнул на него злобно – не до глупостей – и втопил прямо через полянку к шоссе, чтобы не толкаться с другими машинами. Полянка оказалась болотом, они увязли. Положительно все было одно к одному: Бровман вылез, налег, не боясь запачкать новый реглан, колеса завизжали, но увязали только глубже. Вот тебе поспешил. Бровман махнул Спасскому и побежал на шоссе, там летчик Брехунов подобрал его. «Пожара бы не было», – деловито сказал Бровман: он хорошо помнил, как в прошлом году сгорел дирижабль, врезавшийся в гору под Петрозаводском и тоже называвшийся «СССР». Похоже, и это название не приносило счастья: кто-то не хотел, чтобы «СССР» летал слишком высоко и долго. «Не сгорит», – уверенно сказал Брехунов: стратостат казался ему, асу, слишком несерьезным аппаратом, чтобы сгореть. Ехали к вагонному заводу. Стратостат упал на его спортивную площадку, рядом с баскетбольным щитом, раскрашенным в веселенький зеленый цвет. Бровман издали увидел, что около сдувшегося желтого шара лежит, облокотясь на локоть, Порфирьев – лежит, слава богу, совсем не так, как недавно Лондон. Он пытался закурить, но правая рука плохо работала. Чуть поодаль пытался встать и снова опускался на четвереньки Белорусец, подкатывала скорая, подбегали люди, но Бровман успел первым.

– Разбились сильно? – спросил он.

– Не очень сильно. Прыгать хотели, но спасли гондолу. Приборы целы все. – Порфирьев и теперь думал о приборах и боялся разноса. – Ты бы, Лев, позвонил... в кремлевку бы... Надо ребят туда...

Бровман поднес ему огня и с ужасом увидел, что Порфирьев не может затануться: вдох причинял ему невыносимую боль, треснули, видимо, ребра, и бледен он был очень. Но нельзя было медлить, где ж тут у них телефон, день-то выходной, и рано, – Бровман побежал к ближайшему зданию, перемахнул какую-то канаву, рядом мчался молоденький репортер из «Пионерской правды», что ли; здание оказалось заводским клубом, что был по причине воскресенья заперт. Бровман увидел в окне телефон и локтем разбил окно. Вытащил осколки из рамы: еще не хватало живот пропороть. Набрал кремлевскую больницу, сказал, что упал стратостат, живы все, но, кажется, переломы. Тут же дал звонок дежурному по НКВД, чтобы на всякий случай были в курсе и обеспечили проезд, – краем зрения заметил, что мальчик из «Пионерки» при этом звонке непроизвольно вытянулся. Но Бровману было не до собственной значимости: он хоть и гордился, что первым дозвонился, но радоваться не приходилось. Бегом, задыхаясь, вернулся назад – Порфирьева грузили на носилки. Врач сказал: да, повезем прямо в кремлевку, у него шок, другие двое как будто легче, смещены позвонки и у одного, кажется, сломано ребро. Брехунов предложил подбросить до центра – нет, сказал Бровман, я разыщу Спасского. Он подошел к гондоле, пока можно, – до гондолы словно и дела никому не было, – и увидел за прибором невредимый, даже не выпавший номер «Известий». Хотел забрать, словно улику, но побоялся лезть внутрь.

На следующий день, уже дав короткую заметку об аварии (вероятнее всего, нарушилась все-таки цельность оболочки, но не хотелось подставлять бурята, написал: возможно, была не замеченная ранее трещина или происшествие на высоте, столкновение хоть бы и с птицей), Бровман поехал навещать Порфирьева и команду. Порфирьев держался бодро, но очень ему не понравился. Порфирьев всегда был доброжелателен и тщеславен, даже после неудач, но на этот раз, похоже, подломился, это ощущалось прежде всего в быстрой речи. Он словно суетился. Постоянно напоминал, что «вот в следующий раз», – хотя ясно было, что никакого следующего раза ему не разрешат, он и этого-то добился с величайшим напряжением. Слово клеймо на нем стояло, и в больничной коричневой пижаме он гляделся робко, стала заметна худоба, а щетина и вовсе придавала ему выражение не то бандитское, не то тюремное – пойманно-бандитское, сказал тогда Бровман, но Порфирьев не смеялся. Повреждения оказались серьезные: временная атрофия желудка от удара, трещина в позвонке. Белорусец и Прилуцкий отделались ребрами, соответственно, двумя и тремя, но даже пытались робко шутить. Понятно было, что Порфирьеву ничего не грозит, – рекордсменам позволялось оступаться, без несчастных случаев не бывает стартов, но он будто ждал каких-то подтверждений, дергался от каждого стука в дверь, с медсестрами же был груб,

словно они его отвлекали от дела. Два раза за сорок минут он выходил курить, но папиросу бросал почти сразу, мучительно морщась. Все хотел прокашляться, но болела грудь. Врач в разговоре дал понять, что лежать всем троим не меньше месяца, внутренние кровоизлияния, гематомы, ушиб мозга у двоих. Бровман принес газету, как всегда, но впервые не смог отдать – понял, что газета была не нужна, даже и оскорбительна. Порфирьев пролежал два месяца, от курорта отказался и в ноябре застрелился.

4

Этого нельзя было понять, этого никто не ждал, и Бровману все вспоминалось его молящее, совершенно неузнаваемое лицо, когда на прощанье Порфирьев спросил: но ты придешь на следующий старт? Ясно было, что не дадут старта, что не видать ему больше темно-лилового неба, но что вот так... В некрологе, подписанном Кагановичем и десятком людей мельче, говорилось: перенапряжение, травма, нервный срыв. Белорусец отмалчивался, Семенов был совершенно смят. Помянуть собрались в Центросовете Осоавиахима на Суворовском. Поначалу пили молча, но постепенно разговорились и даже стали чокаться, хотя каждый второй тост пили за ушедших; но хватит похоронных настроений, сказал Ляпидевский, будем пить как за живых.

Не так часто собирались они теперь, летчики, полярники, капитаны, конструкторы, все, кого газеты давно объединяли словом «герои»: герои вышли на трибуну, героев встречали вожди... Они и составляли два верхних этажа могучей конструкции, похожей на пирамиду физкультурников, – как в легендах Древней Греции, раздел первый: боги и герои. Они были еще молоды, Порфирьев из старших, но в гробу выглядел юношей; оказывается, ему не было и тридцати семи, пушкинский возраст, действительно роковой. Давно миновали года их молодого энтузиазма – хотя какое давно? Пяти лет не прошло с эпопеи «Челюскина», семи – с открытия Люберецкого аэродрома, десяти – с полета Нобиле. Год шел за три. Теперь они больше руководили, чем летали, больше спорили на заседаниях, чем над картой; почти все к тридцати пяти поседели, соль с перцем, и если глаза еще, как принято было писать, блестели молодо, то чувствовалось за этим некое усилие, словно внутри приходилось включить лампочку. Нет, они не состарились, но время первой романтики миновало, и связывало их теперь только прошлое, хотя время для мемуаров, сказал Макаров, далеко еще, товарищи, не пришло. И все-таки они были словно присыпаны

пеплом, потому что даже если ранняя смерть входит в привычный набор твоих рисков («Смерть – профессиональная травма летчика», – говорил Волчак с обычной своей рисовкой), часто хоронить товарищей – последнее дело; и это случалось с годами не реже, как можно было ожидать, а чаще. Об этом молчали, этого не понимали.

Встретились тут многие старые экипажи, с годами разлетевшиеся далеко и вместо былой дружбы иной раз выказывавшие почти неприязнь: у одних карьера сложилась триумфально, другие оказались оттерты. Им смешно было считаться наградами и званиями, а между тем считались, хотя каких-то пять лет назад счастьем для них было просто выжить и вернуться. Собрались, по молчаливому уговору, без жен, хотя Бровман знал – кому и знать, как не самому преданному хроникеру их побед, – что одни обзавелись молодыми подругами, других бросили прежние, устав ждать, а самыми счастливыми были третьи, кто так и остался с первыми женами, но таких было мало, хватило бы пальцев одной руки. Однако языки развязались, затеялся ликер «Полярный» из сгущенки и спирта, Кригер стал рассказывать о собственном воздухоплавательском опыте. Опыание у него выражалось в том, что он начинал говорить особенно витиевато и гладко, в том же тоне, в каком писал свои «Записки о дрейфе».

– Было это, друзья, в то время, когда мощный воздушный флот Осоавиахима ютился весь в единственном ангаре в овраге близ деревни Мазилово, от которой осталось сегодня одно название района Мазилово-Фили. Дирижабль В-3, как вы, несомненно, помните, далеко не гигант: около трех в нем тысяч кубов, и только. В тридцать четвертом меня взяли в агитационный полет, разбрасывать брошюры о советском дирижаблестроении. Никаких рекордов не предполагалось, нам даже особым предписанием запретили какой-либо риск. Март месяц, сугробы совершенно исключительные...

– Снежно было, – подтвердил Гузеев.

– Вот, и товарищ капитан не даст соврать. И вот мы всё разбросали, долетели до Волги – Волга, надо вам заметить, зимой и не Волга никакая, одна равнина, – и пришло время поворачивать назад, но встречный ветер был такой силы, что болтались мы в двухстах километрах от Москвы, а до базы добраться не могли и за два часа. Между тем смеркается. Видим вдруг россыпь огней, сверху необыкновенно уютных. Прикидываем, где можем быть, – батюшки, Переславль-Залесский! Снижаемся, но посадить дирижабль, как вы понимаете, задача не из простых. Надо инструктировать встречающих, а откуда им знать? Я радировал

бы, да некому. А люди выбегают из домов, смотрят вверх – картина! Мы обеспечили им вечернее развлечение. Я постарался окоченевшими руками написать как можно более четкую записку с детальной инструкцией, мы сбросили ее с грузом и видим: подобрали. Нас несет на окраину города, туда помчался какой-то автомобиль, запалили костры, но мы на радостях рано сбросили гайдропы, они едва до земли достают. Двое как-то подпрыгнули, поймали один, тянут к земле, но тут – что бы вы думали? – попадаем в восходящий поток. А с земли, можете представить, один уцепился за гайдроп и не отрывается! Нас несет вверх, мы орем ему: прыгай! А он боится. Наконец разжал руки, полетел, смотрим – вроде живой. Но как только он оторвался, нас тотчас же понесло вверх с такой быстротой, что я и заметить не успел, как мы с пятисот ушли на тысячу семьсот, – ведь разорвет оболочку, представьте! Что делать? Рекорды в наши планы не входят! Моторы не заводятся, горючка, собственно, вся. Все уже поняли, что нужно нажимать на аварийный спуск, но командир медлит. Чего ждет? Высота два километра! Он дернул, наконец – в дирижабле открывается, вы знаете, такой треугольник, и начинает выходить газ. Мы снижаемся, я убираю антенну и прекращаю радиосвязь, но, сами понимаете, провисли тяги, и рули не действуют! Штурвал вообще делается лишней деталью. Сгрудились все на носу, потому что гондола за счет моторов встала на сорок пять градусов, но и мы всей тяжестью не могли выровнять машину, держались кто за что. Однако идем вниз, почти пикируем. И когда уже мысленно прикидываем, куда приземлимся, – вырастает перед нами огромный дом с башней, и прямо на эту башню нас несет. Не могу постигнуть, как я смекнул, – в такие минуты, вы знаете, сознание работает быстро, – но ухватился за трос руля направления меховыми рукавицами, всей тяжестью повис – и отклонил дирижабль от башни на два метра. Никогда больше смерть от меня в двух метрах не проходила! Но на этом злоключения не кончились: бывают уж такие полеты, что одно к одному. Впереди лес! Что такое падение дирижабля на зимний лес – это вы можете себе представить. Как бы мы нанизались на эти голые прутья – шашлык!

Все засмеялись. Ясно уже было, что если Кригер жив, значит все хорошо; конечно, где-то он привирал, но кто не привирал?

– Лес, по счастью, оказался еловый. Мы спустились, верхушки спружинили, но все равно, товарищи, потрясло нас знатно. Пока первые попрыгали из гондолы – дирижабль словно воспрянул и пошел было опять вверх, мы не успели закрепить гайдроп, и последним пришлось выпрыгивать уже метров с десяти. Переломы, скажем иначе, возможны весьма. Дирижабль упал потом на порядочном расстоянии, мы опасались взрыва, но обошлось. Места темные, два часа еще

потом с фонарями добирались до жилья, и с тех пор, товарищи, никаких дирижаблей...

- Порфирьев сам понимал, что швах дело с дирижаблями, - сказал Ляпидевский.

- От Порфирьева девушка ушла, - сказал вдруг Храмцов. - За неделю до того полета. Сбежала.

- Что ж он молчал?!

- А что б ты сделал?

Жена Порфирьева не пошла на поминки, компания была мужская, и говорить можно было свободно.

- Он дома в последнее время и не жил почти. Все с ней. А она сбежала к кому поудачливей.

- То-то оно, - сказал Белорусец. - К нему только дочка приходила... Он говорил, что не хочет жене показываться в таком виде...

- Да куда ушла? К кому?

- Уехала с кем-то. Она сама с юга была, ну и уехала.

- Тебе он рассказал?

- Нет, он молчал. Он к жене тогда вернулся, но битое не склеишь.

- Ах, вот он, значит, почему...

Замолчали.

- А мне кажется, - робко вставил свое Бровман, - что причина, знаете... Ну, просто он слишком быстро жил. И это как шагреновая кожа. При такой саморастрате... он себя израсходовал, как топливо, просто у него сил не стало.

– От таких причин люди не стреляются, – тихо сказал Васильев. – Чрезвычайно хороший ты репортер, товарищ Бровман, но дурак.

5

– Ну и что ж мы будем делать? – сказала высокая черноволосая женщина лет двадцати пяти, отхохотавшись.

Ялтинская набережная была вся в огнях, а далеко, в туманном синем море, виднелись три далеких парохода, и такая манящая печаль была в этих огнях, словно кто-то к кому-то больше не вернется, больше не встретится. А про это ведь никогда не можешь знать.

– А этого никогда не можешь знать, – прямо этими словами и ответил ей заливчатский командировочный Семенов. Прибыл он на Магарач перенимать тут опыт, потому что перестраивал в Ленинграде завод шампанских и десертных вин, – он говорил с некоторым официантским шиком «шемпанских», – и ему надо было понять особенности купажа, вообще изучить секреты старика Голицына, Льва Сергеича, который создал тут лучшее в России виноделие. Отчего же не поехать летом в Массандру? И Семенов днем беседовал с виноделом Егоровым, учеником Голицына и большим любителем мадерцы, а вечерами рыскал по набережной, подыскивая достойную себя подругу. Командировка стала бы подлинной удачей, если бы такая подруга нашлась. Семенов присмотрел эту женщину на пирсе, где она стояла одна, прямо изваяние, и словно ждала из моря неизвестно кого. Глаза у ней были зеленые, с косинкой, и звали ее Маринкой. То есть Мариной, разумеется, такую женщину не станешь звать уменьшительно-ласкательно.

Семенову было под сорок, уже с залысинами, с острым, несколько лисьим носом, быстрыми глазами и прекрасной памятью на забавные истории, он был хороший спец, и не только по вину, в особенности десертному, но и по женской части. Считалось, что пролетарий начал обрастать жирком, и это так надо: повоевали, будет. Пора было пролетарию готовить себе вкусную и здоровую пищу, отдыхать в хороших санаториях с гипсовым рогом избытия над парадной лестницей, пить правильное, не вредное, не слишком сладкое вино в нужной пропорции. Семенов

понял, что пришло его время, потому что умел и любил пожить, аскезы не понимал, бессмертия не допускал. Какое там после смерти продолжение, когда и тут-то, как говаривал его дед, ничего нет? Марина была женщина удивительная, с той перчинкой, которую Семенов ой как чувствовал. Он умел вести учтивый разговор, лишнего не говорил, глупых шуточек не отпускал. Знал и карточные фокусы, и тысячу других милых способов ненавязчиво сблизиться. Марина пила, не пьянела, в «Ореанде» кормили удивительно, а Семенов был сюда как сотрудник пищеблока прикреплен и имел полномочия от Москвы оценивать ялтинский сервис. Ничего, сервисно. Подливал он ей и той самой мадерцы, не упуская рассказывать, как любил ее лично Распутин, бывавший тут в Ливадии, – про вино Семенов знал в самом деле много, не станем принижать профессионала. Тогда все были профессионалы, больше уж никого не осталось, дилетанты все умерли.

– Особенно же ценится в мадере, – говорил он сладко, – привкус каленого ореха, возникающий лишь при высокой температуре. Вообразите, вино было в Индии не распродано и в таком виде отвозилось в порт отбытия, и пока его по жаре везли, в нем запустился процесс засахаривания и возник вот этот вот привкус, наиболее нам всем дорогой. Как бы сироп, но как бы из ада, что, Мариночка, совершенно подходит и к вашей внешности...

Она на это ничего не отвечала, и пора уже было переходить к разговорам о ней, о самой Марине. Семенов знал, что с женщиной надо говорить о женщине, она других разговоров не понимает.

– Я нисколько не любопытствую, Мариночка, – сказал он, – но мне хотелось бы немножко о вас знать. (Он был ласков: Мариночка, немножко. Он был такой немножко котик, пиджак на нем был летний, мягкий и голубой.) Что вы здесь, как, почему вдруг Крым.

– Почему женщина летом ездит в Крым? – переспросила Марина. – А вы с трех раз угадайте.

– Отдыхать, наверное, она ездит, – предположил Семенов.

– Это если она устала. А если не устала, она едет жизнь свою спасать.

– Что же может угрожать вашей жизни? – спросил он, переходя с игривого тона на заботливый.

– Истребитель, – сказала она так, что непонятно было – серьезно или нет.

– Истребитель какого рода, одно- или двухмоторный? – Семенов мог поддержать и такой разговор.

– А черт его знает, – нахмурившись, отвечала Марина, – где у него мотор и сколько. Я только знаю, что он хотел меня убить и непременно убил бы. Но я оказалась хитрая.

Семенов положительно не знал, что на это ответить.

– Я про него узнала кое-что, – продолжила Марина, помолчав. – Узнала я про него кое-какие вещи, и кроме того, у него есть брат за рубежами. Ну и всякое прошлое. Я узнала случайно и не имела такого намерения. Но человек это непростой. Я вам могла бы назвать его фамилию, но шанс вашей с ним встречи довольно мал. А то, конечно, вам надо было бы насторожиться. Но, думаю, в вашем Ленинграде нет у вас шанса с ним свидеться, разве что после смерти.

Это вовсе уж насторожило Семенова, потому что в жизнь после смерти он не верил, как мы знаем, и прямо об этом сказал. Марина только окинула его скептическим взглядом.

– Но неужели вы думаете, что сейчас, в наше время... – начал Семенов. – Что прямо среди нашей действительности...

– Среди нашей действительности только и убивать, – проговорила Марина медленно и демонически, близко к нему наклонившись. – Где, скажите, Алексей, где обычно прячут лист? Лист, Алексей, прячут в лесу.

Этого Семенов не понял. Он вообще был не особенно понятлив, хотя смекалист. Но смекалка – совсем другое дело. Смекалистых было тогда много, а понятливых уже мало: самые понятливые были далеко, а просто понятливые постепенно отправлялись еще дальше. Тогда все говорили загадками. Вообще было много загадочного, загадочных женщин в особенности.

– И вот прямо угрожал? – спросил Семенов в растерянности. Похоже, надо от этой женщины бежать, будут неприятности.

Но очень уж она была привлекательна той особой привлекательностью, которой обладают героини эпохи. Прошла та эпоха, героиней которой была спортсменка, ныряльщица, «Трудовые резервы» и «Крылья Советов» или работница, ткачиха, пришла героиня – ночная женщина, женщина, устанавливавшая вокруг себя ночь даже днем, роковая, вспоенная хотя и советским, но шампанским, – наша советская ведьма, королева приема.

– Если б он угрожал, я могла бы заявить. Но такие не угрожают, такие действуют. Я достаточно с ним пожила, все поняла. Это новая порода. До революции был такой тип, но редко. Я читала. Сейчас уже побольше, подросли. Понимаете ли, Лёша, какая вещь... Это не так легко объяснить мужчине. Но женщина всегда понимает. Из человека, Лёша, есть два выхода...

И она замолчала, и Семенов, конечно, не смог не пошутить, что выходов значительно больше.

– И нечего с тобой говорить, Лёша, ты дурак, – сказала Марина. – Пойдем с тобой туда, куда ты собираешься.

У Семенова рот наполнился слюной. Это была его обычная реакция, возбуждение. Он специально снял комнату, а не номер, дабы не рекламировать свои приключения, посулив ялтинской хозяйке чуть больше обычных трех рублей в сутки за то, чтобы та не ограничивала его ни в чем. С кем хочет, с тем придет. Хозяйка была навеки запуганная, как все в Крыму, с такой же запуганной зобатой дочерью, которая за ней шпионила и считала скрытым врагом. И вот туда он и повел Марину.

По дороге Семенов предпринимал попытки целоваться, но она уклонялась. Пахло упоительно, цикады орали оглушительно, тоже, видимо, о любви – о чем еще орать-то?

– Он, кстати, в тюрьме сейчас, – сказала Марина.

Семенов не понял и переспросил.

– Муж. Я вот на звезды смотрю, а он звезд не видит. Разве что из глаз, но, думаю, берегут. Он человек у меня непростой.

– А какой же? – в полном недоумении спросил Семенов.

– Государственный. Такие нужны. Но если б я с ним осталась, Лёша, ты не представляешь, что бы со мной было. Он бы мог мою целостность нарушить.

– Чего?!

– Целостность мою. Ты, конечно, понимаешь все в одном смысле, потому что ты человек простой, негосударственный. Но если ты об этом, мою целостность нарушили в пятнадцать лет с полного моего согласия. А он мог бы ее так нарушить, что мою личность собирали бы по частям. Он это умеет. Он свою первую жену так замучил. Я дура была, не понимала ничего. Но теперь поняла.

– А вам, Мариночка, здесь есть где остановиться? – спросил Семенов заботливо. – Я бы мог вам посодействовать, вообще мог бы на себя взять...

– Мне, Лёша, всегда есть где остановиться, – сказала Марина с интонациями советской ведьмы. – Важно знать, когда остановиться, а где – это, голубь мой, не вопрос.

Они поднялись на второй этаж скрипучего деревянного дома, который всё обещали снести, но не сносили. Дом перестоял землетрясение 1928 года, и старуха уверилась, что он теперь перестоит всё.

Семенов испытывал неловкость. Обычно еще на подходе к дому – своему ли, чужому – начинал целоваться, а там как-то все происходило само собой, но теперь ему целоваться не давали, отворачивались. Это его разозлило. Он сам разделся до трусов и лег. Марина смотрела на него, как взрослая на пионера.

– Ну так что же? – спросил Семенов.

– Ничего, ложись баиньки.

– А вы?

– А мне рано баиньки. Но я посмотрела, где ты живешь, мне любопытно было. Теперь буду знать, и никуда ты теперь не денешься.

И Марина оглядела комнату, словно запоминая детали обстановки.

– Ты что же, Лёша, думал? Ты думал, может быть, что я после моего истребителя с тобой ночевать стану? Я, Лёша, после истребителя не могу с человеком. Я, если хочешь знать, его бросила, но, если хочешь знать, любила. И ты, мальчик, думал, что я с тобой буду после него? Ой, уморил.

И она расхохоталась не ведьминским, а девчоночьим смехом, каким над Семеновым смеялись во дворе.

– Дурак ты дурак, – сказала она снисходительно. – Тебе пустышку сосать. Но ты смотри, не болтай много. Я теперь знаю, где ты живешь, да и еще кое-что про тебя знаю.

Семенов не удивился бы, если бы Марина выпорхнула в окно, но случилось гораздо более странное. Она вышла, хлопнула внизу дверь, и Семенов, понятное дело, прильнул к окну. Он увидел в ртутном свете единственного фонаря, горевшего, как нарочно, прямо напротив их дома, как вышла Марина, и тут же из кустов вышагнул молодой атлет, повыше Марины ростом, а роста она была немало. Он будто бы караулил, но Семенов мог поклясться, что никакой слежки за ними не было. Возможно, атлет материализовался из воздуха, а возможно, он Семенову померещился – у страха глаза велики.

Но Марина взяла атлета под руку и склонилась головой к его плечу, и так они и растворились в ночи, полной цикад.

Глава вторая

Сеть

Все люди делятся на две категории, говаривал Царев, но критерий деления утрачен. Дореволюционный поэт писал, что все люди делятся на тех, кто уже покупал гроб, подушечку и прочие принадлежности, – и тех, у кого это впереди. Люди двадцатого века делятся на тех, кто уже переодевался в казенное, сдавая все свои вещи и вместе с ними прежнюю жизнь, и тех, кому это предстоит. Некоторые ошибочно полагают, что существует третья категория, которой не предстоит, но строгая наука не тратит время на полемику с дилетантами.

Пока Антонов находился в активной фазе следствия, мыслей у него не было, кроме одной: черта с два я буду вам когда-нибудь делать самолеты. Он не мог даже сделать следующий логический ход: самолеты он делал не им, а себе. Их он использовал в качестве стартовой ступени – прекрасная идея Царева, которому тоже, он знал, не поздоровилось. Стартовая ступень отваливается, а ракета уже высоко.

В активной фазе некоторые мысли додумывать нельзя. Само собой, начисто отсекаются воспоминания детства, мать, отец, первые книжки, первые планеры; отсекается прошлое и по возможности будущее. Прошлое растрavляет, будущее расслабляет. Нужна сильная концентрация ненависти, и в ней у Антонова недостатка не было. Но теперь, когда у него появилось время для размышлений, как раз для них ему и предоставленное, – он выстроил себе теорию, в которой возможно было жить.

Ни в одно историческое время не появлялось столько всеобщих теорий всего на свете, как в те годы. Нельзя было жить, не объяснив, и холодным умом конструктора Антонов разделил все эти теории на три разряда: исторические, религиозные и верные. Исторические нащупывали целесообразность: так надо, чтобы в один прыжок преодолеть вековую отсталость, чтобы всех мобилизовать, чтобы слюнтяи и трусы не смели шипеть по углам, чтобы подготовиться к неизбежной войне, а возможно, выявить тех железно-каменных бойцов, которые все вынесут и ничего не подпишут. Такие теории ему нашептывали в камере, они исходили не из причины, а из цели и потому были неопровержимы: целей не знает никто.

Религиозные были витиеваты. Один профессор, сугубый атеист, уверовал, что явился с инспекцией дьявол. В уме профессор занимался периодизацией этих

инспекций и нашел, что они случаются раз в два в энной степени плюс три в степени эн плюс один лет. Предыдущая была во время Наполеона. Все это было не так глупо, как выглядело. В другой теории что-то говорилось про чередование эпох пламени и льда. Все эти теории преследовали одну цель – дать своим создателям чувство правоты или хоть величия, тогда они выходили свидетелями небывалого или искупительными жертвами. Антонов понимал таких людей, им нечем было утешаться, а что их не интересовала истина – так она вообще мало кому нужна.

Верную теорию отличало то, что она не исходила из земных нужд, как будто человек был не главным обитателем Земли, а скорее побочным эффектом более важного процесса. Верную теорию рассказал Антонову историк немецкой литературы, беспечно переведший одного драматурга, пять лет спустя оказавшегося фашистом. Драматург сначала был антифашистом, но передумал, а историк этого не предвидел. Историк давно уже догадался, что Бог потерял интерес к проекту примерно сразу после того, как человечество отказалось принять его сына, а некоторые даже заявили: «Кровь его на нас и на детях наших». После этого было решено, что отныне проект курирует специально назначенная сущность, про которую сказано: «Ich habe deinesgleichen nie gehabt. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last». Что означает: «К таким, как ты, вражды не ведал я... Хитрец, среди всех духов отрицанья ты меньше всех был в тягость для меня». Этот дух есть безусловно чернорабочий, но человек другого и не заслуживает, коль скоро отверг Сына Божия. Поэтому теперь человечеством занимается так называемый Хитрец, задача которого – поддерживать большую часть людей в состоянии приятного, желательного для них рабства. Тех, кто что-нибудь хорошо умеет, надлежит извлекать из рабства и помещать в более комфортные условия, где они смогут делать эти вещи для Бога. Альтернативой такому разумному и, в сущности, гуманному устройству является либо непрерывная взаимная резня, которая все-таки приносит удовольствие небольшому проценту двуногих, либо всеобщая работа на расчистке почв или добыче ископаемых, то есть дело грязное и квалификации не требующее.

Антонову эта теория понравилась, потому что о роде человеческом он примерно так и думал, интересуясь не всякими там психоложествами, а летательными аппаратами с наилучшими характеристиками. И потому, соглашаясь после всего возглавить бюро-29, он поступал единственно правильным образом. Правда, для того, чтобы Антонов работал, необязательно было его сажать. Но цель заключалась вовсе не в том, чтобы посадить лично его, а в том, чтобы единственно логичным образом организовать вообще всех. И потому девяносто

процентов населения занялись наконец тем, для чего годились и чего сами желали, а десять были отобраны и могли, ни на что не отвлекаясь, приносить Господу плоды своих трудов.

Это был нормальный муравейник, не заслуживавший ничего другого, где десять процентов – разведчики, еще десять – крылатые самцы и самки, а восемьдесят – бескрылые рабочие особи. Мораль от муравья не требуется, у него нет моральных обязательств, мораль вообще была придумана только для того, чтобы самцы и самки отличались от рабочих, а рабочие знали свое место. Стоило дать людям организовать себя самим, они немедленно и даже более откровенно строили себе такой муравейник, называя его для красоты царством справедливости или как вам будет угодно. Вот так же и у пчел. Он хорошо помнил, как отец на его, антоновское, совершеннолетие рассказал ему этот анекдот: «– Пьер, не кажется ли тебе, что пора объяснить Жану, откуда берутся дети? – Да, Мари, но как же это сделать? – Ну, хотя бы на примере пчел! – Эй, Жанно, ты помнишь, где мы с тобой вчера были? – Помню, папа! – Ну, вот так же и у пчел».

И Антонов ничуть не грешил против собственного достоинства, соглашаясь после всего сделать им бомбардировщик любой дальности. Он делал это не им, а себе. И когда его привезли из Болшева в кабинет непосредственного куратора, он сразу прозвал его Меф, ибо это был самый что ни на есть хитрец, наименее душный среди духов отрицания, нескучный малый, умевший даже пошутить. Когда же Антонов начал более-менее осматриваться, ему открылась поистине ослепительная картина всеобщей мирмекизации, сиречь омуравьинивания, и работала она не в последние два года, а в первые же двадцать после известного выстрела известного корабля. То был выстрел стартовый.

2

За протекшие с выстрела двадцать лет они много чего тут напридумывали и во всех отношениях обогнали вольняшек, иначе Антонов уже и не называл всех, кто покамест (он точно знал: это до поры) не пошел в обработку.

Пример: Карпов. Неудача с первым советским истребителем 1923 года (испытывал Айвазовский, внук живописца, который не мог знать, кстати, о

сомнительной центровке и неизбежном сваливании в первые секунды) его не обескуражила: он построил И-2, потом разведчик Р-5, начал И-6, но в октябре двадцать девятого был взят как саботажник и приговорен к смерти как социально чуждый; тут выплыло поповское происхождение и первая авария. Тогда же взяли до десятка авиаконструкторов, но пошли темные слухи, что со смертными приговорами погорячились, и предложили искупать; теперь Антонов выяснил, что начальник воздушного управления ВВС РККА Имантс встретился с приговоренными, прочел краткую лекцию о международной обстановке и предложил отдать все силы созданию нового истребителя. Ранее взятый Григорович вовлек Карпова в свою группу, и к Первомаю 1931 года они показали исключительную машину, которую на первом правительственном показе пилотировал Волчак. Тогда Карпова, опять-таки по слухам, простили, но не выпустили: он работал на закрытом объекте. Антонов знал теперь, что этот объект назывался ЦКБ-39, где они все и жили, непосредственно на авиазаводе № 39 имени Менжинского; хорошо, что Карпов не был женат, ему не пришлось разводиться. Некоторым разрешали находиться на объектах с женами, при этом число объектов множилось и порядки на всех были разные, но тридцать девятое ЦКБ отличалось такой закрытостью, что и Антонов не мог туда подступиться. Какие тут жены. Что любопытно: на воле дорабатывать И-16 остался Кочергин, выпускник питерской техноложки, малый грамотный, но без искры. Машине Кочеригина специально сделали испытания вместе с самолетом Карпова, разработанным в Бутырках, – и самолет Карпова побил его по всем статьям. К вопросу о том, как мотивирует среда. «Только условия работы в военизированной обстановке способны обеспечить секретность и эффективную деятельность специалистов в противовес разлагающей обстановке гражданских учреждений», – писал Молотову Ягода, о чем Григоровичу стало известно довольно скоро, а дальше уж чеканные эти слова передавались из уст в уста. Те, кто шептал Антонову в камерах насчет выявления железного отряда будущих победителей в новой войне, были не так уж неправы.

Делалось как? С двадцать восьмого регулярно шли процессы против так называемых очков и шляп, Донецкий центр, Промпартия, железнодорожники, золотопромышленность, дальневосточный сельхозкредит, военное дело – практически ежеквартально; специалистов с дореволюционным образованием боялись брать на работу. Потом стало известно, что Рамзин вместо расстрела доделывает в секретном месте свой прямоточный котел, а Осадчий, взятый, помнится, прямо в суде, монтирует всесоюзную телефонную сеть; и в мае тридцатого года Куйбышев с Ягодой подписали циркуляр «Об использовании на производстве специалистов, осужденных за вредительство». Так началась великая шарага, о которой Антонов понятия не имел, а мог бы иметь, поскольку

непосредственно работал с большинством взятых. Но, видно, так это было придумано, что брали только дозревших, в том числе профессионально; и пока лично Антонова не коснулось, он и вообразить не мог, какая это сеть.

Руководил ею четвертый спецотдел, курируемый лично владельцем известных рукавиц, а после его краха – нынешним хитрецом. Пока Антонов трудился на воле, а Царев мечтал о космосе, в Казани был достигнут прорыв – там работали над перспективнейшим ракетным двигателем. Что интересно, сначала это направление – Антонов прекрасно помнил – было объявлено тупиковым и вредоносным, но пора было привыкнуть, что это и есть первый приз, потому что взятые за вредоносность перемещались в сверхсекретный институт, где занимались непосредственно передовыми технологиями. Если вдуматься, это был гениальный ход, потому что весь Запад, и прежде всего Германия, тупо в это верили. Возьмем микробиологию, Никанорова, который якобы наломал дров с чумой в тридцать первом; он был взят и доставлен в Суздаль, где его уже поджидали Гайский, Вольферц, Голов и прочие насельники суздальского женского, оцените иронию, Покровского монастыря. Возьмите Тушино, где стремительно доводился М-34, – там Антонову приходилось бывать часто, и многие люди, исчезнувшие с горизонта в последние два года, худощавые, подтянутые от здорового образа жизни, сдержанно приветствовали его. Вредитель Шпитальский вместо расстрела получил пост руководителя Ольгинского завода, строительством которого и командовал, пока его не свалил милосердный инфаркт. Полковник царской армии Шнегас, преступно разгласивший военную тайну немецким шпионам, возглавлял Тамбовский пороховой завод, откуда переехал в Рошаль и был премирован легковым автомобилем, но понадобился на ракетном топливе, был взят снова (что стало с автомобилем – история умалчивает) и возглавил в той же Казани пороховой завод, где в обществе анекдотических Штукатера, Бельдера и Фридлендера сотворил истинное чудо под названием флегматизатор, и уж подлинно они были ребята флегматичные, готовые ко всему. Про лабораторию «Б» даже Антонов ничего не знал, кроме самого факта ее существования, – туда ошибкой попал Еремеев, быстро переведенный в ЦКБ-39, поскольку пришелся не по профилю; он успел понять только, что там имеют дело с... И здесь Еремеев принимался так двигать бровями, что Антонов остался в недоумении: тамошнее изделие то ли очень высоко летало, то ли очень глубоко ползало. Конструкторское бюро в Крестах занималось, по косвенным сведениям, противотанковой артиллерией, Военно-химическое бюро на Охте – понятно чем плюс новейшими средствами защиты, и периодически туда командировывались люди со всех прочих предприятий для изучения новейших средств гражданской обороны. Бюро на ЦКБ имени Менжинского по личному заданию того же Имманса строило

истребитель, стреляющий через винт, а с тридцать первого – целое семейство боевых самолетов, включая бомбер и штурмовик, и если у Антонова работа над новым самолетом занимала от чертежа до запуска в серию три года, в ЦКБ-39 все делалось за месяц. Они хотели жить, а как же, и на их глазах совершались чудеса. Григоровича должны были расстрелять, а вместо этого 10 июля тридцать первого года дали грамоту и 10 тысяч рублей. Хуже работать он не стал, потому что испугался на всю жизнь. Два года спустя амнистировали дизелистов, сидевших на Никольской, – в том числе монстров этого дела Бессонова, Брилинга и самого Стечкина, которого Промпартия якобы собиралась сделать министром авиации (несчастный ни сном ни духом был к этому непричастен, выдумал это котлодел Рамзин, не по специальному ли поручению людей, которым Стечкин был действительно нужен?). Они там сделали много интересного – в частности, десятилитровый дизельный двигатель КОДЖУ (Коба Джугашвили, на минуточку!) на восемьдесят семь лошадей, двухтактный нефтяной ФЭД (Феликс – дальше понятно), ЯГГ (Ягода Генрих Григорьевич, ягодка наша), и все эти названия были, ежели вдуматься, логичны, ибо истинными конструкторами всех этих машин были тостуемые.

Ну а что при взятии психика всех сотрудников будущей сети несколько пострадала и все они были, простите за каламбур, ошарашены, так это способствовало им много к украшенью. Сказано: налима надо употреблять, когда вследствие огорчения печень его увеличится. Разумеется, о, разумеется, рабский труд неэффективен, применительно к царской России это многожды обсуждалось. Хорошо работают не осужденные, а помилованные, но чтобы помиловать, сначала нужно посадить. Берем молодого литератора, приговариваем к расстрелу – и будь он расстрелян, он не принес бы уже никакой пользы; но будучи помилован и приговорен сначала к десяти, а потом к четырем плюс ссылка и, по-нынешнему говоря, минус десять, он стал вернейшим бардом власти и всех уверял в пользительности каторги; а когда попробовал этот договор расторгнуть и описал собственного благодетеля в образе великого инквизитора, тут же и помер. Договор расторгается так, и никак иначе. Антонов это знал, но столь далеко не заглядывал.

3

Главное же, что понял Антонов, – что эта власть была, в общем, за него; и больше – это была его власть, ибо у них был общий враг. Эту власть Антонову

надлежало поддерживать и снабжать в меру способностей лучшими в мире летательными аппаратами.

Огромное большинство людей ничего сроду не умело и ненавидело умеющих. Мастеров забрасывали мусором и травили на всех путях. Всех этих, кто улюлюкал, теперь брали поголовно и направляли на то единственное, для чего они годились, – на черный труд или в переплавку. Они по наивности думали, что это их власть, что это они ее взяли, чтобы раз навсегда забить по шляпку всех высовывающихся. Между тем это была как раз власть мастеров, власть, тайно их оберегающая, первая такая власть в истории.

Это было придумано гениально, а если не придумано и получилось само – согласитесь, еще лучше. Всем, кто улюлюкал, дали забрать вожжи в руки и обгадиться. Естественно, у них ничего не вышло. Потом профессионалов собрали туда, где ничто их не отвлекало и никто не смел улюлюкать, а улюлюкавшие отправились на удобрение.

Это было правильно уже потому, что сама эта власть находилась в сходном положении. Она сама в детстве натерпелась, потому что дети не понимают. Они видят только – особенный, и ну травить. Рассказывать о детской травле считалось унижительным, а между тем только тот чего-то и стоил, кого травили. Нынешняя власть устраивала травли исключительно для того, чтобы засветились самые громкие гонители, самые азартные камнекидатели. И стоило им засветиться, как их брали на карандаш и аккуратно списывали. Так уже случилось с РАППом, а те, в кого бросал камни РАПП, были теперь орденоносцами и депутатами Верховного Совета.

Антонов поражался, как он раньше этого не понимал. Власть в самом деле была в положении главного конструктора, и если бы чернь взбунтовалась, одинаково досталось бы именно им – Архимеду, который знай чертит свои чертежи, ничего другого не желая, и власти, которая так же одинока перед лицом бунтующего плебса. Они оба заложники и обязаны поддерживать друг друга. Им обоим нужно было что-то, кроме жрачки. Только их интересовало бессмертие – все остальные довольствовались корытом. Это была власть великих бессмысленных проектов. Случайно получилось так, что Антонов умел строить летательные аппараты, и потому его извлекли из муравейника и отправили под личный присмотр Мефа. И по большому счету не важно, что Мефу нужен был истребитель или бомбардировщик, способный дотянуть до Англии. Это могло быть подлинной целью, и Меф в своем праве: ему нужно защищать свою

империю профессионалов от бушующего вокруг моря простофиль. А могло быть прикрытием, потому что Антонов давно уже втайне догадывался: Мефа не интересовали все эти оборонные мелочи. Если бы Меф захотел, он одним бы усилием воли превратил своих подданных в пушечное мясо и завалил им все орудия врага. Жизненное пространство, все эти пошлости – это было для немцев, у которых и философия вся служила исключительно для бургерского пищеварения. Нет, не оборона Мефа волновала. Оборона была так, для мелких исполнителей. Для самого же главного нужны были ледяные высоты и широты, космический холод, арктический лед, нужна была иная, подлинно великая задача. Просто печь хлеб и доить коров неинтересно. Построить социализм – вот безусловная задача. Но социализм – это была гигантская ракета, и только; самая большая ракета, предназначенная для достижения самых дальних пределов. Антонов должен был построить эту ракету. Здесь интересы его и Мефа интересы совпадали.

Все они – конструкторы, художники и хозяин возводимой ими пирамиды – стремились к одному: к достижению своих пределов и превышению их. Девяносто процентов окружающего их населения в этом не нуждались и потому должны были обслуживать великий проект по покорению всех возможных полюсов: полюсов Земли, полюса недоступности, апогея и, если повезет, перигея. Они были первым в истории шансом достичь рубежей, а повезет – и раздвинуть. У них одних было идеальное население, ни на что не годившееся и ни на что не претендовавшее. У них была идеальная страна, из которой получилась абсолютная лаборатория, и потому у них не было вариантов, кроме как стать лучшими в своем деле. Весь их проект нужен был только для достижения высших точек – а там хоть бы и рассыплется. Но до этого было еще весьма далеко.

Антонов никому об этом не говорил. Но с той минуты, как вся эта конструкция с ледяной простотой выстроилась в его голове, он воспринимал свое пребывание в Болшеве как месть своим дворовым врагам; и он даже не особенно удивился, когда об одном из них – Борисе Валовом – услышал от своего конструктора Касимова. Касимов сидел с Валовым в камере и рассказывал о том, как несчастный толстяк помешался. Он вообразил, что его готовят для заброски на Луну и бьют только для тренировки, чтобы он выдержал тряское путешествие по лунной поверхности.

– Я подумал тогда, – закончил Касимов, – что бред этот не лишен резона. Впрочем, насчет твердой поверхности Луны...

– Луна твердая, – резко сказал Антонов. – Спросите хоть кого. А насчет Валового... В идее про Луну, конечно, нет никакого резона. А вот что его взяли – это резон. Я его знал немного, так что уж поверьте. Это так же верно, как то, что Луна твердая.

Касимов ничего не ответил, осмысливая, видимо, этот научный факт.

– Если же говорить прямо, – добавил Антонов, помолчав, – вам может казаться, что нас посадили, но на самом деле нас спрятали.

Этот факт Касимов осмысливал также молча.

– Выбор же, если вдуматься, очень простой, – выдал Антонов главную свою формулу, которой место было в будущих учебниках людоведения, если человечество до них когда-нибудь дорастет. – Либо девяносто процентов будут ковыряться в навозе, а десять шарашить, либо сто процентов будут ковыряться в навозе.

На это уж вовсе нечего было возразить.

– В эпоху, когда нет больше совести, остается профессия. Только профессия, – добавил Антонов сквозь зубы.

– А совести нет? Точно нет? – спросил Касимов без всякой насмешки, скорее как прокаженный, интересующийся у другого прокаженного, отгнивают ли уже пальцы.

– Точно, – сказал Антонов тоже без всяких эмоций, даже без злобы.

– Ну, при прочих равных... – начал Касимов и не договорил.

Была у них и летопись – с рисунками и стихами. Рисовал Черемушкин, вертолетчик от бога, проектировщик и испытатель первого одномоторного геликоптера, показанного, кстати, за семь лет до Сикорского; чертежник он был первоклассный и с одного раза вел чистую, строгую линию без подтирок, а самолет изображал лучше любого художника. Стихи сочиняли так называемые братья Сергеевы – один конструктор, второй испытатель. Испытатель Виктор Сергеев был человек в своем роде замечательный, в недавнем прошлом полярный летчик, остроумие его было флегматичное, без блесков, но ядовитое.

– Эх, и Карл же ты Сциллард, Карл ты этакий Сциллард, – говорил он венгру, беглецу, славному малому, в отличие от брата Лео, ядерщика, звезд не хватавшему. – Ты Достоевского читал?

– Штитал, – не чувствуя подвоха, отвечал Сциллард.

– И что же ты в таком случае сюда побежал? – спрашивал Петров, и Сциллард полагал свое знание языка недостаточным для понимания этой шутки.

Альбом открывался изображением Антонова, жонглировавшего прочими персонажами. «Смертельный номер! Впервые на арене В.А. Антонов конструирует инженерное бюро в подвешенном состоянии!» Сам Антонов, широконосый, очень похожий, был подвешен на нити весьма тонкой. Он ухмыльнулся и не обиделся. «Звери в клетках на высоте седьмого этажа!» – ясное дело, кто имелся в виду. «Путилов, факир-престижитатор! Выступление с тремя герметическими кабинами!» – Путилов изображен был голым, ибо своими ледяными обтираниями и прочей закалкой потешал всех. Чего закаляйтесь, спрашивал Стромьинский, в Инту готовитесь? А что ж, отвечал Путилов, вот не полетит наша рыбка – рыбкой звали ПБ-100 за обтекаемость, – и вместо дома как раз туда. Чудак-человек, недоумевал Стромьинский, неужели вы хотите ТАМ дольше жить? «Как можно, как можно дольше!» – уверенно отвечал Путилов. Идея с двумя кабинами была вскоре похерена как раз по его настоянию. Некрасов был представлен как вождь Ням-Ням с хвостовым оперением (и ел в самом деле неостановимо, куда все девалось, – бывают такие ненасытные тощие люди). «Файнштейн гнет стекло!» – и гнул, его детищем был плексиглас, у Файнштейна была изумительная судьба. Рассказывал он охотно и с легким как бы недоумением, словно сам удивлялся всем этим поворотам и уже не верил, что в четырнадцатом году окончил университет в Нанси, потом служил рядовым, получил солдатского Георгия, попал в Наркомат внешней торговли, оттуда переведен был в Италию, потом делал стекло для авиационных кабин и

оказался фашистским шпионом. «А каким шпионом, спрашивается, я еще мог оказаться?» – удивлялся он простодушно. Он с такой легкостью менял службы и на каждой так хорошо продвигался, словно умел вообще все, – и никогда не роптал. «В Германии, – замечал Файнштейн назидательно, – уже вообще бы убили». Он догадывался, что Россия предназначена спасти евреев, а больше им спастись будет негде, поэтому пребыванию в шарашке он радовался.

Файнштейн был почти идеальным работником, но у него была семья. У Антонова семьи не было.

Вышло это так: первый брак случайный, студенческий, с абсолютной мещанкой – вспоминать его Антонов не любил. Был ребенок, была вдовая теща-генеральша, над ребенком непрестанно сюсюкавшая, было некуда приткнуть чертежную доску, ибо все было занято беспрерывно сушившимся бельем, – Антонов думал к ним пристроиться, а вышло, что они пристраивались к нему, и обе презирали его за медленную карьеру. Как-то они нашли щель и смылись, в двадцать шестом это еще не было большой проблемой. Дальше случались связи, из которых серьезной была одна, что-то было в ней, чего он сам не понимал, но она оказалась умней и внезапно сбежала, не оставила следов, хотя Антонов искал, когда остыл. Стерла себя подчистую, как принято было у тогдашних стремительных девушек, работниц нефтехима и Метростроя. Тогда-то Антонов решил: никаких отвлечений, только работа, которая не предаст, – да и стыдно, товарищи, в тридцать семь лет отвлекаться на вопросы пола. Вот такая жизнь, как в шарашке, его устраивала, и сатирическая хроника была подтверждением того, что они на верном пути. Это было для него, как для Ленина субботники. Если люди высмеивают друг друга – значит, есть коллектив.

Он часто в Большеве почему-то вспоминал ту, Марину, которая и сделала его человеком. Инициация мужчины проходит в два этапа, как вакцинирование от чумы по методу Коробковой и Туманского. Сначала он должен найти женщину, идеально подходящую ему, но это этап начальный; потом он должен ее потерять. Марина все сделала, как нужно, – и нашлась, и потерялась, – но теперь и именно здесь часто снилась. Поскольку она все равно была уже потеряна, а заменить ее было некем, хотя бы он и нашел еще одну зеленоглазую с косинкой, с таким именно золотым пушком на руках, – Антонову не на ком было ломаться и не о ком плакать. Сциллард – тот с ума сходил по семье, по жене и дочери, и Бартини, еще один беглый итальянец из капиталистического ада, все выкрикивал свое «Inconceptibile!», а Антонов только иногда просыпался по ночам с особенно живым и ярким присутствием Марины.

Вот тоже был случай. Просчитывать крыло Антонов поставил двух наиболее перспективных людей, лично ему не знакомых, – 465-го и 113-го, один лет сорока, прибывший из Канска, другой лет пятидесяти, из Норильска.

– Ну что же, будем знакомиться, – не приветливо сказал старший. – Откуда?

Младший назвал лагпункт.

– Не в том смысле. Откуда сам?

– Из Ленинграда.

– Это хорошо, я из Москвы, но бывал у вас регулярно. – Старший сильно картавил. – Где работали?

– В Академии наук.

– Не свисти, – грубо сказал старший. – Уж в Академии я знал всех.

– Я тебя тоже там не видел, – огрызнулся младший.

– И не мог видеть. Ты там не работал. Колись.

– Я заведовал теоретической механикой в воен-мехе, – озлился младший.

– Теоретической механикой, – с торжеством воскликнул старший, – в военмехе заведовал Крутков!

– Ну, – недоуменно подтвердил самозванец. – Я и заведовал.

Старший пристально взгляделся и сел на табурет.

– Юрий Александрович, – пролепетал он.

– Сорок лет Юрий Александрович, – все еще обиженно буркнул бывший завкафедрой.

– А я умер! – закричал старший так, что все обернулись. – Я умер, помните?

– Не помню.

– Ну как же не помните! Румер, Юрий Румер!

Крутков внимательно взгляделся и тоже рухнул на табурет.

– Действительно умер, – сказал он тихо.

Этот эпизод получил разнообразные трактовки. Френкель, человек странный и несколько надломленный, глубоко интересовавшийся религией и оккультизмом, вспомнил о случае в Эммаусе, известном только в трактовке Луки – словно он был там лично. Двое апостолов шли в Эммаус и с ними некто. Тут странно было все: и то, что этот некто пошел с ними, и то, что они не удивились ему, и то, что не стали расспрашивать, откуда он взялся. То было сумеречное время, когда апостолы еще не вполне пришли в себя, а многие искренне полагали, что воскресший им привиделся.

Они шли в Эммаус, разговаривая о том о сем, «но глаза их были удержаны» – как сие понять? и кем, если не им, они были удержаны? Или они были удержаны тайной скорбью, невысказанной мыслью – на этот счет нет никакой ясности. Один из них, именем Клеопа, стал рассказывать спутнику, что было в Иерусалиме. Этот Клеопа, по одним сведениям, был брат Иосифа Обручника, то есть дядя Христа, по другим же – мужем родной сестры Богородицы, но в любом случае ближайшим родственником Иисуса и не узнать его не мог. На известной картине Мелоне он изображен длиннородым старцем. И Клеопа рассказал, что явился пророк, предсказанный писаниями, но был распят, и теперь вообще неизвестно, верить ли писаниям, а главное – зачем теперь жить? Но Иисус – а это был именно он – отвечал: «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки!» – и подробно изъяснил все, что было сказано о славе Иисуса и о предательстве. И когда они за разговором дошли до Эммауса, Иисус хотел идти далее. Вот это, заметил Френкель, мне

нравится больше всего – что он хотел идти далее! Но я вижу этот легкий туман, как в вечерней Ялте, и зажигающиеся в домах огни, и весь этот вечерний Эммаус, селение в шестидесяти стадиях от Иерусалима, – оно почитаемо и ныне, ибо его под именем Амуас опознала св. Мария Вифлеемская, которой Христос явился в видении и указал место первого явления. Странно было все это слушать от физика, специалиста в области навигационного приборостроения, – хотя что же странного? Всякий физик, глубоко чувствующий предмет, знает, что в основе науки лежит непостижимое, а наука – всего лишь сеть конвенций, выстроенных поверх непостижимого, inconcentible! – как кричал несчастный Бартини.

Итак, апостолы упросили Иисуса не идти дальше и остаться с ними. И только тогда по движению, которым он преломлял хлеб, они узнали его! Чувствуете вещь, которую не выдумаешь? Это ниоткуда не могло взяться, это было. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них». Чувствуете? Как только узнали, стал невидим! Разумеется, с ним случилось преобразование. И разумеется, он не прежний, и все прежние его только раздражают. Увидите, мы вернемся к нашим, даже к самым любимым, и будем раздражать друг друга – потому что мы без них и они без нас слишком много перенесли! Сказано же: и в мире новом друг друга они не узнали, чего нет в оригинале, это уж он вписал, гениальный русский мальчик, – и на эту строчку Френкель ссылался даже с большим трепетом, чем на Луку. Я уверен, добавил он, что, если мне суждено увидеть Ксению только там – жену звали Ксения, Френкель по ней жестоко томился, – я, может быть, тоже не узнаю ее в первую минуту, но будут какие-то вещи, по которым узнаю.

Эта идея заинтересовала Надашкевича, который в юности изучал английский и читал в оригинале Диккенса. Его особенно увлекал незаконченный роман «Тайна Эдвина Друда». После исчезновения Эдвина Друда, которого, скорее всего, убил родной дядюшка, влюбленный в его невесту, дело начинает расследовать некий Дик Дэчери. Одни считают, что Друд мертв, другие – что уцелел и переоделся в Дэчери, а то, что его никто не узнаёт, как раз и было сюжетным фортелем, который обещал Диккенс. «Не все мы умрем, но все изменимся!» – важно предупреждал Надашкевич. На этих волшебных преобразованиях можно было построить несколько недурных сюжетов вроде того, который только что перед ними разыгрался; и впрямь, продолжал Надашкевич, мы все, прошедшие арест и чудесное воскресение, люди с другим составом крови. Быть может, добавлял еще с одесской язвительностью, с учетом этого разработано наше местное меню. Чтобы мозг ни на что не отвлекался, еда должна быть питательной и невкусной (он, верно, забыл, как за три месяца перед тем жрал рыбы кости).

То, что все они, безусловно, были теперь не прежними людьми и перешли, возможно, на иной уровень, не подвергалось сомнению; у всех резко выросла производительность труда и концентрация, ибо они больше не отвлекались на жизнь. Но была у этого изнанка, компенсация: все они легко впадали в депрессию, да в общем, и не выходили из нее. В свободное время часто можно было застать их плашмя лежащими на кроватях, лица в ладонях. Мировоззренческие и научные споры, расцветшие было в первые дни, совершенно угасли. Теперь они избегали тратить силы на дискуссии. Они не были друг другу интересны, им было стыдно. Стыдились абсолютного собственного бесправия. Их жизни висели на волоске, и это стимулировало их работу, но лишало ее всякого смысла. Один Антонов не был склонен к депрессии и вел себя так, словно не происходило ничего для него нового.

– Если нет иного способа вывести людей на новую эволюционную ступень, – говорил он, – сгодится и этот.

6

Незадолго до перевода в превосходное здание на улице Радио Антонова вызвали без вещей и повезли в Бутырку. Он прикидывал: разочаровал, накрылась вся идея? – не похоже, вероятно, очная ставка или отбор новичков; но чего-то такого он ожидал теперь всегда. Его спустили по темной железной лестнице, были вежливы, никаких наручников и команды «руки назад» – шел как свободный, хотя один спускался впереди, а второй топал сзади. Антонов вошел в кабинет и впервые в жизни увидел перед собой Мефа. Он прекрасно знал это лицо, но в жизни Меф оказался толще, старше, серьезнее.

– Здравствуйте, товарищ Антонов, – сказал он, «товарищем» подчеркивая новый статус.

Антонов не стал обращаться по имени-отчеству, ответил строго официально.

– Нас интересует высотный четырехмоторный пикирующий бомбардировщик, – без предисловий сказал Меф.

– Эту идею можно обдумать, – осторожно сказал Антонов. – Я предложил бы самолет атаки, двухмоторный, пикирующий, скоростной, несущий полторы тонны боевой нагрузки. Работа над ним успешно продвигается в Болшеве.

– Нас интересует, – повторил Меф, – четырехмоторный бомбардировщик. Нам известно, что работа над такой машиной ведется в Германии, в Англии. Его дальность должна быть около пяти тысяч километров.

– Такая машина, – сказал Антонов, – может оказаться тяжелой, она будет хорошей мишенью. Мы можем обсудить параметры, но я еще в прошлом году отправил письмо, где говорил об исключительной роли атакующего самолета. Говоря попросту, машина с заданными вами параметрами может не взлететь.

– Это ваше дело, чтобы она взлетела, – сказал Меф очень спокойно, однако закипая. – Я вам хочу напомнить, что вы дали показания о сознательном срыве трансарктического перелета Гриневицкого и о сотрудничестве с французской разведкой, эти показания вас никто не заставлял давать. – И тонкие его губы изобразили ухмылку.

– Я уже считаю себя в некотором роде покойным, – сказал Антонов с неожиданно теплой интонацией. – И это, могу сказать, облегчает работу. Преступно было бы в этих обстоятельствах тратить время на самолет, который не полетит. Высотная машина – это герметичная кабина, снижается обзор. Четыре мотора – это неповоротливость, тяжесть. Разве что вам известно о европейских разработках четырехмоторного, и вы хотите сделать Царь-бомбер наподобие Царь-пушки, но позвольте напомнить, что Царь-пушка не стреляет. Я просил бы рассмотреть наш проект самолета-агрессора, способного нести тяжелые бомбы. Вся документация готова, может быть предоставлена. Проект маркирован номером 58.

Тут Меф опять улыбнулся, потому что не мог не знать, что Антонов писал первое письмо из камеры той самой Бутырки за номером 58.

– Мы рассмотрим ваше предложение, – сказал он. – Какие вы планируете технические данные?

– Скорость шестьсот, – зашел Антонов с главного козыря.

– Семьсот, – ровно поправил Меф.

Антонов понимал, что для самолета такой размерности эта скорость недостижима, но почел за лучшее не нарушать занудством стилистику кавказского торга.

– Высота шесть тысяч.

– Шесть пятьсот, – торговался Меф. На кутаисском базаре ему, вероятно, не было цены.

– Грузоподъемность до двух тонн, – сказал Антонов, уже поняв принцип. На самом деле они заложили две с половиной.

– Три, – предсказуемо настаивал Меф.

– Дальность порядка четырех тысяч.

– Пяти.

– Это осуществимо, – после необходимой паузы согласился Антонов.

– Вам потребуются люди, – не сбавлял темпа Меф. – Подготовьте список лучших специалистов и, возможно, молодого резерва.

На лице Антонова, вероятно, изобразилось недоумение, ибо он не мог понять, все ли уже сидят; попадание же вольных в их ведомство казалось ему исключенным.

– Называйте любых, – сказал Меф, явно читавший мысли.

Антонов кивнул.

– Вообще, учтите, – проговорил Меф, переводя разговор в более гуманный режим, – мы готовы людей, хорошо выполняющих правительственные задания, премировать вплоть до полного освобождения. Не секрет, что в предыдущие

годы было, так сказать, несколько наломано дров и были отдельные перекосы, сейчас выправляемые. Но если мы увидим саботаж или вы почувствуете, что вам больше остальных можно, пеняйте на себя. Мы умеем добиваться поставленной цели любой ценой.

Определенно, этот человек все понимает про людей и мало интересуется авиацией, но понаблюдать за тем, каких результатов могут достичь отдельные личности в крайних обстоятельствах, ему интересно. Он обладал своеобразным магнетизмом, но не тем, который притягивает людей, а скорее тем, который мобилизует. Ясно было, что в его руках закрутится любое дело. Ничего от провинциального бандита, как рассказывали недоброжелатели, в нем не было. Вообще в нем было меньше человеческого, чем в большинстве начальников, знакомых Антонову. Это был руководитель нового поколения, держащий в голове все необходимые цифры, ничего не забывающий сделать, недоступный милосердию и иной пошлятине. Это был человек очень усталый, безэмоциональный и бесконечно выносливый. С ним можно было работать.

– Разрешите три папиросы, – попросил Антонов.

– Вы же не курите.

Осведомленность Мефа была универсальна.

– Мне для товарищей.

– Снабжение товарищей мы наладим, – сказал Меф и папирос не дал. – Кроме того, если у товарищей будут возникать всякие мелкие мужские потребности, это тоже решаемо.

На лице его изобразилось пренебрежение. Он явно презирал и потребности, и тех, кто собирается их удовлетворять в передвижных борделях, организованных начальством. Такие бордели мгновенно нарисовались воображению Антонова, но Меф лишь брезгливо поморщился, прочитав и эту мысль.

– Возможны свидания, – пообещал он. – Но только при условии работы, которой мы будем довольны. Перечень подадите завтра. Тогда же я вам сообщу результаты обсуждения вашей пикирующей машины. Приступайте.

И то ли он нажал кнопку, то ли подал иной сигнал – Антонова так же молча препроводили назад.

Четкого впечатления не было. Обычно Антонов мог судить о человеке, поняв его цели, но у этого была одна видимая цель – оптимизировать работу механизма; лично для себя, казалось, Меф не хотел ничего. Вероятно, все они когда-то – по мотивам личного самолюбия или из-за детской мечты – втянулись в партийную работу, а теперь у них не было иного выхода, кроме как отлаживать свою лабораторию. Почему-то появилась задача выйти в космос, попутно обеспечив безопасность проекта; почему-то для решения этой задачи никто больше не годился, во всяком случае, не годились ни европейцы, ни американцы. Почему-то была только одна страна, способная произвести таких конструкторов в сочетании с такими летчиками. Судьбы остальных муравьев никого не заботили. Достаточно того, что они снабжали проект едой и папиросами и примерно один процент его воспевал. Впрочем, без воспевания можно было и обойтись, особенно если перестанет хватать еды и папирос.

На обратном пути Антонов решил, что этот проект его в целом устраивает, – особенно по сравнению со всем, что было до того.

7

Кондратьева знали те, кому надо. Слово невидимый фильтр отсекал от него ненужных людей. Когда Антонов в марте двадцать пятого впервые разговаривал с Царевым, они почти в один голос сказали: первый – Кондратьев. И стало понятно, что с этим – оба одновременно так друг про друга и подумали – можно иметь дело.

Кондратьев писал весело и ясно, чувствовалась энергия. Предисловие было Ветчинкина, который по крайней не любви к письму абы за что не взялся бы. Из его двух страниц было понятно, что пришел человек новый. Антонов насел на Ветчинкина – хоть какой он? Ну, такой... сутулый. Познакомьте! Ветчинкин по обыкновению жался и кряхтел: да как же, он закрытый, приходит когда хочет... Впрочем, иногда в аэродинамической лаборатории в физфаковском подвале, знаете, в Даевом переулке... Еще бы не знал! И уже со второй попытки Антонову показали: в углу вытачивал на станке нечто, тут же встал спиной к станку,

прикрывая. В самом деле сутулый, но слегка, от застенчивости, потому что при коломенском росте везде выделялся. Антонов старался держаться деловито, без восторженности: здравствуйте-здравствуйте, я такой-то. А, сказал Кондратьев, плавали, знаем. Кольчугалюминий. Стало ужасно приятно. Регулярных и долгих общений не было, потому что с самого начала ясна была кондратьевская склонность к одиночеству и тайне, вдобавок и занимался он слишком другим – Антонов хотел летать и строить аэротехнику, Кондратьева интересовали межпланетные маршруты, и планировал он их так, как будто ракетоплан был уже вот, летал. Но если представить, что действительно – вот, то есть как бы откинуть первую ступень и вообразить себя году в 1953-м, когда не мы, так немцы уже запустят первых людей к Марсу, нельзя было не восхищаться устройством кондратьевского ума и речи. Он придумал станцию на орбите, с которой впервые шагнут на Луну; великолепно сконструировал расширенное сопло, додумался использовать магниевый бак как топливо – очевидная, казалось бы, вещь, но просчитал он один! Наконец, когда Антонов его действительно зауважал, так это после гравитационного маневра. Использовать притяжение планет, да что там – звезд, это было невообразимо и притом рассчитано так красиво, что и Царев проникся. И как-то это было очень в духе Кондратьева – посмеиваться и глядеть вкось, выслушивая их поздравления. Он сказал тогда, что готовит обобщающую работу – «тем, кто строит, чтобы летать», уже послал в Калугу, – и тут исчез.

Было темное дело с элеватором без гвоздей. Как всегда, Кондратьев шагнул дальше, чем следовало, или, правильно формулируя, раньше. Почему надо было строить элеватор без гвоздей? Нужно было построить обычный, пусть и сверхъестественных размеров. Не надо было называть его «Мастодонт», комиссия не знала этого слова. Надо было «Слон» или «Мамонт», если хотелось подчеркнуть хобот. Ясно же, что они боялись непонятного. Если без гвоздей – явное вредительство, упадет и похоронит тринадцать тысяч тонн зерна. Что им сэкономили центнер гвоздей, они не поняли. Вмешивался Вернадский, заслушали Ветчинкина – обошлось ссылкой, откуда почти сразу перевели в распоряжение шахтоуправления. Далее след терялся, мелькнула одна статья о ветряках – уже в тридцать шестом, в «Известиях», фантастический электрический ветряк в Крыму, способный по мощности сравниться с Порожской ГЭС. Это было очень далеко и от межпланетных полетов, и от шахт. Начали было строить на Ай-Петри, но вдруг заглохло, и Кондратьев опять канул. Но Антонов его не забывал, с неизменной симпатией помнил колючие глаза, вдруг способные просиять, сухое лицо с бородкой, черный свитер с высоким воротником, необыкновенно уютный, – и вот этот гравитационный маневр с притяжением Юпитера; и когда Антонова вызвали и спросили, кого он желал бы

привлечь, «не агранычивая себя», он назвал Кондратьева первым.

Тут у него снова был шанс изумиться осведомленности Мефистофеля, человека, в общем, далекого от ракетостроения. «Это какой же? – спросил Меф брезгливо. – Там что-то было в Камне-на-Оби?» – «Было, – сказал Антонов, – но разобралась, и его конструкция, насколько я знаю, до сих пор стоит». – «А вам он зачѐм?» – «Он голова, каких мало». – «Хорошо, вам ответят». И через три дня ему действительно позвонили – где бы еще, в какой Германии так держали всех на карандаше? – и сообщили, что Кондратьев в Серпуховском районе Московской области, на машинно-тракторной станции имени XVII съезда.

Антонову в новом статусе начальника КБ не составило бы труда за Кондратьевым послать и доставить его в Москву, но человеку с опытом неприятностей нелегко было бы соглашаться на новую должность, если б его доставили с фельдъегерем. И выставлять себя начальником Антонову не хотелось – ему нужен был не подчиненный, а светлая голова. И потому он поехал сам, и не машиной, которая ему теперь полагалась, а электричкой. Хлестал в лицо февраль, вообще словно не рассветало, снег сыпал мелкий, колкий, Антонов успел все проклясть в прокуренной темной электричке с мутными окнами и проплеванными вагонами, потом попуткой добирался до МТС, потом битых полчаса отыскивал Кондратьева среди сгрудившихся на бесприютной равнине мастерских, пока наконец ему не сказали, что Кондратьев в слесарке; из слесарки отправили его в ремонтный бокс, а оттуда в таинственную генераторную, которую он отыскал только к трем часам дня. В генераторной среди толпы малорослых людей непонятного возраста – издали Антонов принял бы их за подростков – он сразу заметил Кондратьева, все ту же коломенскую версту. Кондратьев что-то объяснял, стоя у развороченного тракторного двигателя. Антонов подошел и встал поодаль, не желая прерывать разговор. Он боялся, что у него появятся начальственные повадки. Но Кондратьев учуял нового человека, замолк и обернулся к нему.

8

– Ну здорово, – сказал Антонов.

– Здорово. – Кондратьев снял рукавицу и подал огромную ладонь. – Ты откуда к нам?

– Я по твою душу. Это сколько ж мы лет не виделись, Юра?

– Одиннадцать, – сказал Кондратьев уверенно. – Я тебя сразу узнал.

– Да и тебя не спутаешь. Ты заканчивай тут, потом поговорим.

– Обедать пойдем, я сейчас. – Кондратьев махнул рукой остальным. – Шабаш.

Люди в ватниках настороженно поглядели на Антонова, помялись и разошлись, словно растворились в полутьме по углам.

– Ко мне пойдем, – сказал Кондратьев на улице. – Это я тут, видишь, показываю, почему эм семнадцатый греется.

Антонов в дизелях ничего не понимал.

– А что, греется?

– Там смесь грязнится. Ну и вообще... перехимичили. Двигатель дельный, Брилинг его придумывал. Но есть пара вещей, которые можно... – Кондратьевская манера делать паузы перед окончанием фразы, словно заменяя мат или термин, никуда не делась. – Поправить, – закончил он.

Антонов привез в наплечной сумке палку твердой колбасы и две бутылки водки, Кондратьев привел его в холодную чистую избу с минимумом обстановки, сразу стал растапливать печь, ни о чем не спрашивая. Потом кинул несколько картофелин в чугунок, нарезал бурый хлеб, молча взял водку и так же молча разлил ее по стаканам.

– Ну, к нам? – спросил он, помолчав после первой.

– Да нет, Юр. Я хотел, наоборот, тебя к нам.

Кондратьев все-таки сильно переменился, но, как всегда, трудно было сказать, в чем именно. Вся повадка его была прежняя, волосы по-прежнему густые, в бороде блестела седина, даже свитер, кажется, был тот же самый, но на лицо словно набросили мелкую сетку, потяжелели веки, и слушал он, глядя в стол. Антонов быстро ему рассказал суть задачи.

– А кто курирует это все?

Кондратьев по-прежнему задавал главные вопросы, минуя частности. Антонов назвал.

– А что он в этом понимает?

– Так он не должен понимать, Юра. Я понимаю, и хватит.

Антонов хотел поделиться именно с Кондратьевым своими соображениями об этом новом типе партийца, но решил, что пока не время, – надо определиться. Он не допускал даже после одиннадцати лет, что Кондратьев стал ортодоксом, а вот что возненавидел ортодоксов, мог представить легко и не хотел его отпугивать.

Кондратьев поднял на него глаза, помолчал и хмыкнул:

– А я думал, ты сюда. У нас сейчас... интересно.

– Юра, мне интересно строить самолеты. Ты пока не строишь... или у тебя тут строится дизельная межпланетная станция?

А кстати, свободно могло быть. Это было очень в духе Кондратьева – подпольно, на МТС, затерянной под Серпуховом, конструировать межпланетную ракету, и притом под контролем тех же людей. Иначе откуда бы Мефистофель так быстро его извлек? Вот они, МТС-то, а мы все думаем – «челябинцы»...

– Станция – нет, – сказал Кондратьев, не обидевшись. – А ребята есть дельные. Так что в перспективе... могут.

– Юра. – Тут Антонов попер в решительную атаку, потому что рассусоливать не любил. – Сейчас можно работать. Мы им сейчас нужны по военным делам. Это всегда так было, ну и надо пользоваться, пока можно. – Он мельком подумал, что другие люди, не видевшиеся десяток лет, первым делом стали бы друг друга расспрашивать, кто на ком женат да какие детки, но они оба были ненормальные и своей ненормальностью гордились. «Какие последние политические известия?» – нормальный предсмертный вопрос.

– И где это все?

– Пока в Болшеве, там посмотрим.

– Командуют вояки, я так понимаю.

Антонов решился-таки поделиться соображениями.

– Они какие-то новые пошли. Не дубы, во всяком случае. Обучаются быстро, память конская, в теорию не лезут. Я понимаю – им нужен истребитель. Ну что, будет истребитель, в конце концов, не самая бесполезная вещь. Особенно сейчас, сам понимаешь. Но в перспективе – там можно думать про ракету. Там можно делать твою станцию. Там сейчас все можно делать, короче, лишь бы мы были первые везде. И условия там – ну, не знаю насчет быта, про быт мы много не говорили... Это для тебя, я понимаю, вещь десятая. Но все, что касается работы, там будет на чистом сливочном масле. Все по высшему разряду и лучше, чем в Европе. Если бы нам все это дали десять лет назад – наша машина бы сейчас уже ходила по Луне.

– Ну а что быт, – сказал Кондратьев. – Колбаса вот... ничего.

Антонов понимал, что он формулирует ответ, и не торопился. И Кондратьев его формулировал, и, как всегда, это был ответ с опережением, но в его манере, чуть вбок.

– Да я, в общем, чего-то такого и ждал. Ну, примерно. Это знаешь как будет? Как Вавилонская башня.

Антонов поразился: именно это сравнение уже приходило ему в голову.

– Ну а что? – спросил он. – Про это, видно, не только мы с тобой думаем. Я тут книжку читал, любопытную. Про то самое. Так вот, когда через руины Вавилонской башни шло войско Александра Македонского, они эти руины обходили три дня!

– Да кто ж говорит-то, – сказал Кондратьев, глядя прямо на Антонова без всякой улыбки. – Кто же спорит-то. Я это просто к тому... что хорошая вещь – башня, но не тебе бы, город Вавилон, ее строить.

– Но больше-то некому, – мгновенно среагировал Антонов. – Кроме города Вавилона, она же не нужна никому.

– Да я не спорю, дело хорошее. Особенно в процессе.

– А до результата, знаешь, только внуки доживут. Они там сами разберутся, что с этой башней делать – в кино снимать, магазины размещать, мало ли...

Тут у него мелькнула догадка. Он ничего не знал о прошлом Кондратьева. Люди со сложным прошлым, с не совсем кристальным происхождением или с участием в войне не на той стороне, мало ли, опасались приближаться к любым затеям Мефистофеля. Они не понимали, что самое безопасное место сейчас именно рядом с ним, под самым его прямым руководством, потому что они там сами для себя решали, кто у них свой, а кто чужой. Это на местах могли переусердствовать и вместо стрижки ногтей рубили пальцы. А когда надо было делать дело, в это дело пускали тех, кого надо, без оглядки на классовые различия.

Антонов так и сказал Кондратьеву, сначала подыскивая слова, а потом, как всегда в разговорах с ним, рубя прямо: если у тебя что-то с анкетой, или с фамилией, или ты опасаешься за прошлое – так как раз КБ и есть то самое место, где про это можно не думать.

Кондратьев покачал головой, и некоторое время они пили молча.

– Ну, в общем, я не поеду, – сказал Кондратьев так, что Антонов сразу понял: уговаривать бесполезно. Кондратьев был из тех, с кем ссорятся один раз, а уговаривать значило именно поссориться. Но для Антонова это было дело принципа, он, может, затем и хотел заручиться согласием самого талантливого из них, что сам себя убеждал бы именно этим согласием. А если Кондратьев не хотел, то, стало быть, все зря. Вот весь он был в этом. Он хотел, видимо, не замараться и вечно так сидеть в углу, занимаясь своим дизелем, а по ночам, должно быть, рисуя межпланетные ракеты. И когда-нибудь ему будет памятник, хотя ни одна его ракета никуда не полетит, а про Антонова скажут, что он продал душу.

– Ты, Юра, обращал внимание на одну вещь? – вкрадчиво начал Антонов. – Человечество всегда про себя рассказывает разные истории. И почему-то оно до шестнадцатого века рассказывало одну, а потом стало рассказывать другую. До пятнадцатого кто-то еще верил, что Богу интересно. А потом поняли, что ему интересны не все. Всех спасти не получается. И тогда Бог прислал Мефистофеля, чтобы спасти одного, двух, ну, тех, у кого получается. Чтобы они ему строили ракету, или башню, или мало ли. Так что брезговать Мефистофелем – это, конечно, красиво. Но это, Юра, бессмысленно. Я тебе даже знаешь что скажу? Там, в Болшеве, совершенно не рай. – Антонов начал хмелеть, поскольку всегда пил мало, и сейчас после третьей выкладывал Кондратьеву все, о чем думал в последнее время, когда слишком уставал, чтобы сразу заснуть. Тогдашние люди вообще много думали – именно потому, что мало спали. – Там в лучшем случае чистилище, и в это чистилище я тебя, Юра, могу взять. Но остальное – это ад полноценный, нормальный. Тот, про который написано. И весь выбор – он очень простой. Надо же исходить не из того, что нам хочется. Надо из того, что есть. Здесь иначе никогда не бывало. Ты можешь, конечно, считать, что в этом говне ты остаешься самым чистым. Но оно, Юра, не перестанет быть говном. А с Мефистофелем, может быть, ты построишь ракету, и дети наши улетят куда-нибудь, где этого выбора нет. Вот примерно так.

– Ну да, да. Я тоже примерно так и понимал. Я тебя разве сужу? Я никогда тебя судить не буду. Но мне не хочется... в такое чистилище. У меня тут, может быть, другое... чистилище.

– А другого нет, Юра! – тихо закричал на него Антонов. – Если ты хочешь строить ракету, тебе придется быть Фаустом и подписывать с ними договор, именно! Если они дадут тебе все, ты тоже должен им что-то дать, это же ясно! Но ты сделаешь им ракету, которая полетит.

– Да почему, – сказал Кондратьев. – Я им что-нибудь другое сделаю.

В это время очень кстати, словно нарочно для иллюстрации, хлопнула дверь в сенях, и с мороза зашел человек, которого Антонов поначалу не разглядел.

– Вот, пожалуйста, – сказал Кондратьев радостно. – Прошу любить и жаловать. Товарищ Донников.

Антонов хоть и хмелел, но на фамилии реагировал мгновенно: дело Донникова, точно, были какие-то о нем статьи лет восемь назад. Какая-то молодежь переводила фашиствующих литераторов. Потом заглохло. Кого-то выслали, но потом настали такие времена, что высылали уже пачками, и хоть Антонов запрещал себе про это думать, кое-что просачивалось. Вот, стало быть, Донников. Странно, он должен быть старше. Консервировали их, что ли, там, куда высылали?

Донников был само очарование, таких сейчас уже не водилось. Он лучился доброжелательством, хотя видел Антонова впервые. Может, так доверял Юре – с плохим человеком пить не будет? Ему по всем данным было под тридцать, но выглядел он свежим, радостным юношей. Чтобы увидеть такого человека, теперь надо было ехать на МТС под Серпухов, а то и значительно дальше. Счастливых людей не осталось, всех выслали.

– Юрий Васильевич, – сказал Донников, – я чего отрываю-то вас. Там наши вроде додумались...

– погоди, Миш, – сказал Кондратьев. – Ко мне друг приехал.

Почему-то этот «друг» обрадовал Антонова куда больше, чем давеча сообщение Мефистофеля о том, что ему дают КБ.

– Большой человек стал, – продолжал Кондратьев. – А меня не забыл. Колбасы вот привез.

Антонов встал и подошел к Донникову поздороваться.

– Владимир, – сказал он веско.

- А я Миша, очень приятно. Я про вас читал. Вы конструктор Антонов, так?

- Ну так, - сказал Антонов. - Конструирую немного.

- А я тут в школе работаю рядом, - признался Миша. - Мне в Москву сейчас не очень, а здесь ничего. Но вы не думайте, товарищ Антонов, с меня судимость сняли. Мне и в школу можно, и в Москве я бываю, все нормально.

Он это говорил спокойно и радостно, без той пришибленности, с которой обычно признавались в подобных извивах биографии.

- Я, понимаешь, Миша, не всегда дизелями занимался, - объяснил Кондратьев.

- Да я помню.

- Ты, кстати, Володя, присмотришь. - Антонов заметил, что это был первый раз, когда Кондратьев обратился к нему по имени, словно в Мишином присутствии добрели все, даже погода. - У нас тут тоже, как ты выражаешься, немного чистилище. Миша вот школу делает по новому образцу, очень приличную. Я же кое с кем познакомился... в разное время. Ну и как-то они ко мне... приезжают. Необязательно же истребитель, так? Можно и... вот так. Садись, Миш. Пойдем сейчас посмотрим, что они там...

Миша с радостью присел к столу - он все делал радостно - и стал чистить картошку; Антонов только теперь заметил, что левая рука у него покалечена - нет двух пальцев.

- Это на производстве меня, - проследил он за взглядом Антонова и сказал об этом тоже гордо и радостно. - Но я приспособился. Все-таки левая же.

- Да уж понимаю, что не в песочнице, - сказал Антонов.

До него начало доходить. Он уже понял, что КБ будет не одно, но создавать их можно не только сверху и не только по решению ЦК. В таких чистилищах, как у него, всегда будет делаться в России все, но затевать эти КБ умеет не только Мефистофель. Вот и Донников, должно быть, затеял в свое время такое, где они переводили фашистских авторов - фашиста Эредиа, фашиста Камозенса, - но его

взяли за ухо и отправили на производство, где он лишился двух пальцев: в ни-то, должно быть, и гнездился фашизм. И теперь он вместе с Кондратьевым создавал новое КБ, где найти их было не так-то просто: Мефистофель все про них, конечно, знал, потому что он знал все про всех, но ему лично, его очочкам, его тонким губам, холодным его рукам, они не подчинялись. И на короткий миг Антонову невыносимо захотелось поработать в этом КБ, но в этой выстуженной чистой избе он жить не хотел. Ему вполне достаточно было того, что придется здесь заночевать.

Но смотреть дизель пошел. И даже давал советы, после которых Кондратьев одобрительно хмыкал.

Ночевать Антонова определили на лавку у окна. Ложиться на печь он категорически отказался, и туда полез Миша. Антонов так и не спросил Кондратьева, женат ли он, как называется в МТС его должность и бывает ли он в Москве. Антонов понял, что уговорить Кондратьева не удастся и что, скорее всего, ракета его полетит нескоро. Но была у Антонова последняя зацепка – смутная надежда на то, что Кондратьев за эти одиннадцать лет стал именно специалистом по дизелям, хорошим специалистом, но совершенно не по тем вещам, которые ему удавались прежде. Он хотел проверить это свое подозрение и даже знал как. Была простая задачка, на которой Кердыш проверял аспирантов: «Отчего Луна не из чугуна?» Все пускались в дебри, а правильный ответ был известен детям: «Потому что на Луну не хватило чугуна». Но здесь слишком велика была вероятность именно этого детского, несерьезного ответа, и своих будущих подмастерьев Антонов отсеивал с помощью задачки похитрей, взятой из французской книжки про жизнь Пуанкаре. Тот выдумал ее, малек, в десятилетнем возрасте.

– Слушай, Юр, – сказал Антонов, поворочавшись на лавке. – Ты не дрыхнешь еще?

– Нет, – отозвался Кондратьев со своей кровати с эмалированными шарами.

– Задача, – сказал Антонов. – Внутри квадрата взята произвольная точка. Произвольная. От нее к серединам сторон проведены отрезки, имеем четыре неравных прямоугольника. Так?

– Ну, так.

- Имеем площади трех, найти четвертую.

Антонов ждал по крайней мере, что Кондратьев зашевелится, извлечет карандашный огрызок, засветит керосиновую лампу, будет что-то чертить, - но тот одобрительно щелкнул языком и сказал только:

- Изящно.

- Ну?

- Сложить два противоположащих и вычесть третий.

Антонов обиделся. Он все-таки задумался минут на пять, когда сам решал этот пример.

- Там достроить немного, - словно в утешение ему сказал Кондратьев, - соединить эти середины, и тогда видно.

А Антонову в тот раз пришлось это чертить, и действительно стало видно. Впрочем, геометрия никогда не была любимым его предметом. Зато сильной стороной было умение уговаривать себя, и когда на следующее утро среди ясной и очень холодной погоды организованный Мишей грузовик подбрасывал его на станцию, он уже твердо верил, что все получится и без Кондратьева.

А если нет - на карте по крайней мере прибавилась точка, о которой можно было думать как об убежище.

10

Бровману дали задание не совсем по профилю, но он этим даже гордился. Универсал. Молотов принял участников совещания прокуроров, и решили напечатать комментарий Вышинского о повышении культуры судов. Бровман взял стенографистку и отправился в Парк культуры, где назначен был у Вышинского доклад о выборах в Верховный Совет. Бровман гордился и тем, что запросто, без страха говорит с человеком, наводящим ужас на миллионы людей

в СССР и за границей, но он перед этим человеком был чист, и тот его приветствовал радостно, не забыл, память абсолютная. Как-никак они были заняты одним делом.

Вышинский вел себя просто, немного капризно, словно трунил над собой, немного подставляясь, но за всем этим пряталась абсолютная воля и безжалостная готовность разоблачить врага, отнять у него все пути к отступлению, превратить в трясущийся студень. Он проделывал это виртуозно. Его речь была полна стального блеска. Мало нашлось бы по обе стороны океана ораторов, способных сравниться с ним. Иные брали голосом, но Вышинский – логикой, чередованием насмешки и пафоса; он умел быть старорежимным профессором, а умел – простоватым балагуром, почти селянином, менял маски стремительно и артистично. Сейчас он был эдаким снисходительным государственным человеком, оторвавшимся от дел по просьбе трудящихся, но чего стоит вся работа, если мы не умеем в простых словах ее разъяснить?

– Сколько времени вы мне даете? – деловито спросил он директора летнего театра.

– Сколько скажете, – с робостью и обожанием ответил директор, совсем молодой кадр.

– Час двадцать, – определил Вышинский безошибочно: меньше – легковесно, больше – утомительно.

Заговорил он бодро, четко, сразу по делу, и Бровман залюбовался тем, как строит он речь, как насыщает ее поговорками, удобными формулировками, хлесткими, мгновенно прилипающими кличками, сообщая ровно столько конфиденциальной информации, не попадающей в газеты, чтобы слушатель мог дома за обедом небрежно сказать: «Слушал Вышинского, говорит – Бухарин запродавался еще в двадцать пятом, а Каменев вообще в шестнадцатом». Кое-что Бровман занес в блокнот: «У капитализма при взгляде на наши успехи такое же выражение лица, как у человека, принявшего слишком большую дозу касторового масла». Товарищеский смех был ему ответом. «Или даже пургена!» – добавил Вышинский, развивая успех, и хохот грянул еще откровеннее. Он мгновенно наводил мостик между собой и аудиторией – мы-то с вами, товарищи, можем пошутить, мы свои, я страшен только врагам, но вы-то! Он как бы делал их всех – какое тут слово найти? – Бровман подумал было «соучастниками», но сам испугался: соратниками, конечно.

После доклада Вышинский, награжденный аплодисментами и ничуть не утомленный, бодро подошел к нему.

– Ну, теперь я ваш. Поехали ко мне. Голодны? Ничего, организуем бутерброды.

Сели в просторный служебный ЗИС-101, Бровману случалось уже путешествовать в нем, хоть и нечасто.

Доехали быстро. В здании шел ремонт, Вышинский с гордостью показал новые двери, но дверь его собственного кабинета на четвертом этаже не открывалась. Ключ подходил, но не поворачивался.

– Вот любой ваш подшефный, – сказал Бровман, намекая на взломщиков, – давно бы справился.

Вышинский рассмеялся, панибратская шутка удалась. Наконец он как-то хитро дернул ключ, и тот повернулся. Кабинет оказался просторен и прост, но Бровман заметил книги на трех языках.

– Свободно владеете? – спросил он, кивнув на полку немецкой юридической литературы.

– А, немного, – рассеянно сказал Вышинский. – В сравнении с русским – бедно все это. Кто знает латынь, тому любой европейский язык дастся. А кто знает русский, тому и латынь – детский лепет.

Он поговорил о роли фольклора в речи Сталина, потом перешел к повышению прокурорской квалификации. С особенным воодушевлением заговорил об индустриализации следствия. У нас, говорил он, разработана такая система учета, что на каждого уголовного, на любого, кто хоть раз попадал в поле зрения органов, составлена папка, и чтобы извлечь досье – требуется нажатие одной клавиши. Автоматизация хранения данных уже сейчас доведена до того, что для получения полной информации об арестованном требуется не более трех часов с учетом телеграфной доставки; в будущем, пообещал Вышинский, это время сократится до четверти часа. Бровман хотел было спросить: а что, на всех что-нибудь есть? и на меня? любопытно бы проверить в действии, – но понял, что вовсе не жаждет этой проверки. Вышинский словно прочел его

мысль, посмотрел в упор и веско повторил: «Любой, кто хоть раз попадал... вы понимаете?» Но тут же добродушно засмеялся, снова сменив маску, и добавил тоном, каким следователь дома беседует с дочкой: «Да что вы, голубчик, в самом деле? Не надо нас бояться. Легкий трепет – это да, это приветствуется. Но наводить страх... Знаете, один наш не в меру ретивый коллега давеча допрашивал после полуночи. Это было в Краснодаре. С инспекцией приехал товарищ из центра. Ты что делаешь? Выполняю прокурорские обязанности. Добро. Так инспектор там же отвел его в камеру, запер и сказал: теперь здесь будете выполнять прокурорские обязанности». Вышинский засмеялся, и Бровман радостно присоединился к нему: ну как же, у нас же не застенки! А Вышинский примерял уже новую маску – с воодушевлением перековавшегося старого профессора заговорил о возросшем уровне выпускников прокурорского втуза. Он не на шутку увлекся, говоря о следовательских кадрах.

– Только представьте себе. В Киеве. Муж покончил с собой, но следователь не верит. Говорит, не тот был человек, чтобы кончать с собой. Инженер. Большевик. Даже пусть стар, нездоров, не тот, чтобы стреляться. Видели, как жена бросила в урну записку. Обшарил все урны в районе. Нашел записку, склеил. Из нее стало ясно – сговор с любовником, он убил, она подстроила. Еще немного – и ускользнули бы. Об этом пишет Шейнин, но, знаете, грешит немного бульварщиной. Вот я рассказал бы... Найду время – непременно подготовлю вам серию очерков! Только уж не подведите, напечатайте. Писательское самолюбие.

Пользуясь случаем, Бровман решил расспросить об Артемьеве. Дело было громкое, сенсация не повредит.

В следующую секунду он пожалел о своем любопытстве. Вышинский, только что неумоимо говоривший третий час подряд, вдруг словно обмяк.

– Вы для себя интересуетесь или для газеты? – спросил он подозрительно.

– Если нельзя для газеты, – пояснил Бровман, – самому хотелось бы...

И он рассказал, как натолкнулся на поисковую операцию и как его завернули на Рязанском шоссе в день гибели Лондон.

– Видите ли, какая вещь, – сказал Вышинский и поджал губы. Он словно искал и не находил единственно верную формулу в своем духе, а может, прикидывал,

насколько откровенным может быть с корреспондентом, хоть бы и известинцем. – Это дело сложное. Оно гораздо сложнее, чем мы могли предполагать, гораздо. И это к разговору о том, как далеко шагнула криминалистика. Раньше его приговорили бы и послали на тот свет, как говорится, без пересадки. Но сейчас, когда мы знаем и умеем столько... Тут можно потянуть за нить – и оборвать, и спугнуть гораздо более крупную дичь. Артемьев очень, очень непростой парень. Если вас интересует мое мнение...

И замолчал снова.

– Конечно, конечно! – горячо закивал Бровман.

– По моему мнению, он и убил. Но мы не можем позволить себе слушаться только подозрений. Есть, к сожалению, слишком много свидетельств в пользу его версии. В случае врага все просто: он продался, это изобличается. А здесь такое количество улики и самых неожиданных обстоятельств... Мы не знаем даже, убита жена или нет.

– Да ладно! – опешил Бровман.

– В том-то и дело, – признался Вышинский. – Понимаете ли, ее видели. Одно свидетельство есть совершенно точное, а одно – так себе, но сбрасывать со счета тоже нельзя. Это дело, если его раскрыть, может войти в учебники. Я даже больше вам скажу. Это дело – с исследованием, с учетом всех обстоятельств, с работой нескольких следственных бригад, – может, когда-нибудь будет восприниматься как символ нашего времени. Понимаете? Символ борьбы за каждого человека, законности подлинно социалистической. Гуманизма, если хотите. А вы говорите, бояться... – Хотя Бровман ничего подобного не говорил. – Вы не представляете, какая радость для нас оправдать человека. Не изобличить, а именно оправдать.

– Конечно, – снова согласился Бровман.

– Вот. Поэтому наша задача – представить все факты. А дальше пусть решает суд. Справедливый советский суд, – подчеркнул Вышинский. – Если мы что-то узнаем – вам скажу первому.

Но не сказал, и Бровман долго еще ничего не знал. А если бы и узнал, не понял бы.

Глава третья

Двое

1

Жена Петрова была желанна миллионам, а Петров не любил ее. Он любил Степанову, и вот как это получилось.

В тридцать четвертом году – это сколько же было Степановой? – ей было девятнадцать, она рано вышла замуж за инженера анилиновой фабрики, и у нее была годовалая дочь, и при этом она обучалась на штурмана. В летный отряд приходили разнообразными путями: Маркович, для примера, была просто ткачихой – и, говорили, могла добиться на этом поприще не меньшего, чем Дуся Виноградова, причем, не уступая ей в изяществе, превосходила в мускулатуре. А Степанова была чертежницей, да еще и передовой; чертили они приборы для аэронавигации, преподавал Чернышев – в Гражданскую артиллерист, успевший в Царицыне попасть на глаза Хозяину и персонально им уважаемый. Он был универсал – летал с двадцать пятого, закончил лесной институт, читал серьезные книги по высшей математике, но страстью его была аэронавигация. Птицы, говорил он, летают в условиях нулевой видимости, а мы не лучше ли их? Определять положение по звездам, солнцу, ветру, мху, влажности, температуре и трудноуловимым движениям воздуха было его страстью, он знал никому не нужные, безумно интересные вещи, о которых никто не слыхивал, – рассказывал про Джона Пола Джонса, первого штурмана американского флота (и любил повторять, что штурман у американцев называется pilot), про Циммермана, лоцмана капитана Кука, первым определившего на «Индеворе» долготу в открытом море, про Чжэна Хэ, совершившего семь путешествий в Западный океан и доставившего в Китай жирафа, который умел читать по-бенгальски и считать до девяти. Но все эти рассказы во время занятий отвлекали Чернышева ненадолго, был он строг и уважаем. Однажды, это был сентябрь тридцать четвертого года, он привел на занятия Петрова, еще не знаменитого, но подававшего самые серьезные надежды: тот прекрасно летал по приборам и

должен был рассказать об особенной важности ветрочета, а также поделиться впечатлениями от перелета в условиях низкой облачности над Черным морем. После занятия, на котором из немногословного, светловолосого Петрова приходилось клещами тянуть впечатления, – и все равно он всем очень понравился, – Чернышев его спросил: как мои? А Петров в ответ спросил: а эта кто, у окна сидела справа? Да, сказал Чернышев, красивая, цыганочка такая, Лепницкая ее фамилия, но ветер в голове. Да не та, с досадой сказал Петров. Подальше которая. Эта? – изумился Чернышев. Эта – Поля Степанова, она схватывает, но внешностью обыкновенная. И замужем. Я совсем не про то, сказал Петров и покраснел. Изумительную способность краснеть он сохранил и после, когда его хвалили вожди и даже когда награждали за Испанию.

Чернышев, однако, относился к Петрову по-отечески (тогда время было плотное, и разница в пять лет, почитай, учетверялась) и что-то понял, поэтому направил Степанову штурманом к Петрову. Разумеется, в первый полет Чернышев взял ее к себе, чтобы посмотреть, способна ли она в принципе сохранять сознание в воздухе, и был даже несколько разочарован ее спокойствием: могла бы поахать, попищать. Правда, особых штурманских качеств она не проявила, потому что, как призналась потом, на трехсотметровой высоте все знания из нее словно выдуло. Ну что же, сказал Чернышев, летать вы можете, я вас передаю Толе, он сделает из вас штурмана. И они стали летать с Толей.

2

Что там между ними происходило в той кабине, никто не узнает, да и что могло быть? Степанова училась определять положение самолета по секстанту, Петров ей рассказывал про Ассена Джорданова и книжку «Ваши крылья», которую ей и подарил. Что-то она ему говорила про себя, про отца, которого сбил чуть ли не первый в Москве мотоцикл, про мать, которая заставляла ее заниматься музыкой. Про дочь же, вероятно, не рассказывала, чувствуя, что Петрову это будет больно. А Петров, вероятно, говорил про истребитель Карпова, который тогда испытывал, про то, что машина эта быстрее в мире, может на вираже при известной сноровке догнать собственный хвост и весит менее тонны, а развивает... – но тут он обрывал себя, не выдает ли военную тайну, и решал, что нет, не выдает, про эту машину Волчак и в газете говорит, – развивает до трехсот семидесяти легко. Рассказывал он, наверное, и про Дальний Восток, на который Степанова потом попала так непредвиденно, – и, чем черт не шутит, не

эти ли рассказы о клоповке и китайском лимоннике спасли ей жизнь? Но оба они были немногословны, общение их происходило, вероятно, благодаря тем токам, которые имеются только на высоте. Говорил же Канделаки, что после пятисот метров начинает улавливать мысли второго пилота, а на рекордной своей высоте 14 575 понял вообще все, то есть начал слышать то, что слышит Бог. Сначала, говорил он, ничего не понятно, какофония, затем прорезываются мысли матерей, они почему-то самые сильные, а потом опасения стариков. Кандель был большой выдумщик, но что-то в его глазах говорило, что не врал.

Петров, конечно, показывал Степановой кое-какой пилотаж – вряд ли удержался бы, потому что Петров на земле и в воздухе – были два разных Петрова. На высоте откуда что бралось – и реакция, и жесткость появлялись, и, наверное, ему хотелось, чтоб Степанова завизжала, а она была не из этаких. Что он ей мог показать на тяжелой машине? Вряд ли петлю, максимум бочку. Ну, если уж вовсе желал поразить ее воображение, – иммельман, но риск, риск! Да и не для форсу он брал ее с собой, а якобы готовить. Это Чернышев им подбросил такую возможность, и была она у них недолго, чисто для старта.

И люди, которые видели их вместе, – Бровман тогда еще не был знаком со Степановой, а Петрова интервьюировал один раз и не почувствовал в нем особенного куража, – начали замечать, что какая-то в этой паре есть идеальная слаженность, словно они родились друг для друга. Они даже были неуловимо похожи – оба не красавцы, но какая-то лучилась из них милота, тихое русское тепло, похожее на знание общей тайны. Петров начал входить в славу, в пилотаже ему не было равных среди молодых, он поступил в академию Жуковского и перешел командиром звена в институт Вахмистрова, и доучивать девушку-штурмана у него не было времени. Как-то они, наверное, встречались, люди взрослые, и по осторожным рассказам Дубовой – ближайшей степановской подруги – Бровман понимал (задним числом, конечно), что вроде как они дошли до разговора о степановском разводе. Но то ли дочка так привыкла к папе, то ли Степанова так высоко себя ставила, что и не представляла, как ее инженер будет без нее обходиться, – в общем, выйти за своего героя она никак не могла. Есть такая черта у женщин этого типа, тихих уроженок московских окраин. Если б она поймала своего инженера на неверности, никогда бы не простила, но сама его оставить не решалась, да и совесть ее мучила. И то ли Петрову это надоело, то ли состоялся меж ними решительный разговор, но все отношения закончились, и Полина осталась при своем инженере, а Петрова, видя его необъяснимую мрачность, познакомили с Татьяной Пороховниковой.

Ох, не надо было этого делать! И не Толе стало от этого плохо, а Тане, потому что с этой бочки, с этого иммельмана судьбы начался у нее тот штопор, про который только теперь и помнят; но была, в общем, вечеринка по случаю выхода фильма «Пилоты», консультировал его Кандель, они скорешились с композитором Боголюбовым, большим любителем пьянок и розыгрышей, и Кандель рассказал, что есть у них пилот, скромный, богатырского сложения, рука на руку побивает любого борца. А поскольку оператор Косматов был из волжских тяжеловесов и басом пел в хоре, решено было свести его с Петровым в поединке, благо и Петров был не лыком шит, родом с пермского медного рудника Покровского, известного тем, что покровских не могли побить ни воронцовские, ни дубравинские; то есть они били всех.

Но побит был Петров, и не Косматовым, который сразу капитулировал – да что, мол, да куда мы против молодых, да я с ним и за стол не сяду, – но Таней, которая только что из ТРАМа перешла во МХАТ, страшно робела и оттого наглела. Таня была в работе милейший человек, безо всякой звездности, и не столько экранная красавица, сколько девушка-товарищ; но стоило Тане выпить рюмку – и она становилась так же неузнаваема, как Толя в воздухе. Для начала у нее прелестно краснели уши. В этом было что-то невинное, беззащитное – не нос, а уши, и потом ей все становилось смешно (Толя – тот не пил вовсе, счастливая особенность организма – не получал от выпитого радости, только головокружение и рвоту). Потом накатывали на нее приступы взбалмошности: куда-то всей компанией ехать, ночью купаться в Москва-реке, слушать каких-то особенных соловьев на Воробьевых горах... В прежние времена такая девушка ехала бы к Яру, а потом в монастырь плакать и каяться – советский вариант был поскромней. Но Толю пленила не эта лихость, а то, что Таня вдруг стала его жалеть. Он не знал еще, что это особенность ее, как говорил Павлов, психической конституции, что при известной концентрации игристого в организме она начинает жалеть всех вообще, а себя ругать – я плохая да я плохая. Но на Толю сильно подействовало, что она после первого смехового припадка как сожмет вдруг его лицо ладонями: милый, милый! Как я вижу все, что у тебя делается, какой ты счастливый с виду, и как тебя оскорбили ужасно! Любому это скажи, и любой, кроме самого тупо-самолюбивого, отнесет это на свой счет. Таня стала гладить его по голове и вдруг заплакала. А Петров переживал самый грустный период расставания – недели через две, когда начинает доходить; и у него, к счастью, не было шанса даже случайно увидеться со Степановой – они работали теперь в совершенно разных подразделениях, не пересекались даже на банкетах, люди Вахмистрова держались отдельно и с бывшими экипажами старались не видеться, ибо торчали на самой передовой. Петров растаял абсолютно, и, когда Таня заснула, скинув туфли и прикрывшись

кофточкой, он сидел рядом и охранял ее сон.

Ухаживал Петров красиво – что ж ему было не ухаживать, возможности появились – и, когда Таня жила на даче, с шиком и громом провёл звено над поселком, перепугал соседей, а уж в театре стал заваливать такими букетами, что полтруппы немедленно ее возненавидело, а другая половина принялась подольщаться: так и так, не может ли ваш друг, ведь он вхож, намекнуть, что у меня третий год сыплется штукатурка, а домоуправ только отмахивается? Таню, правду сказать, то и другое только пугало. Она вообще не очень понимала, откуда вдруг такая слава, но тогда это бывало быстро – человека если начинало возносить и закручивать, совершенно как в фигуре пилотажа «спираль», он оглянуться не успевал, как уже несся в вихре и начинал делать глупости. Это нравилось, давало повод дружески поругать. А когда вскоре делал большую, настоящую глупость – неизбежную для того, кто слишком много и рано получил за небольшие, в общем, заслуги, – его низвергали, и тут начиналась любимая забава. Говорили, что для того только и поднимают; возносили, чтобы обрушить, и не всегда обе стороны сознавали это, но умные догадывались, а самые умные даже не противились (потому что после падения, если уцелел и не озлобился, ты становился окончательно своим, тут уж тебя никому в обиду не давали).

Вот такое вознесение и топталово получилось с Дорлиаком, на которого молился весь театр Вахтангова и который имел неосторожность сняться сначала в плохом фильме, а потом в другом фильме сделать ребенка Катрине Милляр, девушке с баррикад, символу свободы. Эта Катрина – с ярким, но удивительно злым лицом – сошла с баррикад, пожаловалась киноначальству, про Дорлиака напечатали статью, перестали допускать к съемкам, и как-то этот атлет сразу ослаб и умер на гастролях от брюшного тифа. Говорили, что он был добрый малый, все деньги раздаривал, дарил цветы билетерам, но говорить это стали после того, как он умер, а когда всплыла история с баррикадницей, только то и припоминали ему, как он мало успел да как высокомерно занесся. Пороховникова откуда-то знала, что и с ней непременно так и будет, но остановить этот восходящий поток не имела сил – и ей показалось, что, если сейчас впиться в Петрова, он ее как-то заземлит или защитит, и она приняла его ухаживания, а потом довольно быстро согласилась выйти замуж.

Это замужество решилось как-то очень сразу, симметрично получилось: она, восходящая звезда, еще вчера играла мальчишек-беспризорников, а сегодня уже Китти во мхатти, в кино поет и танцует в комедии «Четверо смелых». А с другой стороны он, тоже из младших, но таких, что старшим уже приходится

тревожно на них оглядываться, не теснят ли. Само собой решилось, что их надо поженить: смиренный и буйная, сильный и хрупкая, оба в меру земные и небесные – идеальный, открыточный союз, и все стали слаженно действовать в этом направлении: Боголюбов расписал роли, другой композитор – Дунаевский, всеобщий друг и неоднократный лауреат, – сочинил в их честь увертюру, которую играть прислали оркестр, благословлял образом Миша Зискин (Боголюбов так и сказал ему: будешь мальчик с образом), вместо образа был фотопортрет Щукина в роли главного летчика, впоследствии инструктора, и многие потом говорили, что этого кощунства было не надо, из-за него все и вышло. По крайней мере, в судьбе Зискина оно сыграло роковую роль: помер в эвакуации автором единственной песни «Три тракториста». Шафер был со стороны эскадрильи, Кандель, как без него, а подружка со стороны театра – Акулинина, ни много ни мало парторг труппы; приветствие с Кагановичем прислал лично Хозяин, намекнувший, что вот бы всех летчиков переженить, например, с балетом Большого театра, какие можно бы устраивать гастроли! – не зря передавали словцо зловещего комбрига Салазкина: ну, это уж крепостной театр. Но сыграли все весело, во МХАТе, с продолжением в «Праге», и только увертюра внесла во все это не то чтобы странный, но несколько диссонирующий момент. Как если бы раздернулось синее небо, оказавшееся облачностью, а за ним бушевала настоящая гроза.

Судите сами: две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, четыре валторны, три трубы, три тромбона, туба; группа струнных; литавры, большой и малый барабан, тарелки. Самое начало – восемь тактов *maestoso*, после чего *allegro* и – в лучших обычаях романтической музыки – ре минор в начале и внезапный си-бемоль мажор в средней части, то, что мы в своем профессиональном общении, мастера-посвященные, называем шубертовой Шестой, ибо в первой части «Неоконченной» главная идет в си миноре, а побочная в соль мажоре, что и есть романтизм, герой и масса. Все это поначалу было еще в рамках: бороться, дерзать, найти и препятать – нормальное ритмичное восхождение, напоминающее не столько шторм полюса, сколько шторм другой вершины, неожиданно похожей на полюс: какое ледяное одиночество там всегда пронзало Боголюбова, какой внезапно открывшийся ужас. Вот тут, в как бы лирической средней части, начиналась мольба, словно из-под триумфальных фанфар принималась петть клезмерская скрипка: вот кто ты в конце концов, вот кто ты есть! На умоляющую эту тему накатывал железный марш, потому что если уж ты тут, в этом ужасном мире, то тебе надо по крайней мере дойти до его полюса, то есть испытать его и свой максимум. О моя жизнь, моя поруганная жизнь! Это я не тебе. «Это я не тебе» Боголюбов услышал просто физически, в репризе трубы – та-та-ти-та та-та-там, – и опять

все полезло на стену моря, стали восходить на нее вздувшиеся, распухшие паруса. Вот что увидят эти двое, лезущие на свою вершину, вот зачем они туда лезут, только чтобы упасть; истребитель, истребитель гонит их туда! Ты думаешь, что ты Фауст, а ты Иов. И Боголюбов расплакался, никто, даже спьяну, отроду не видел его плачущим, – и Дунаевский подумал, что это от зависти, потому что сам завидовал многим, а себя считал так, опереточником; но когда он подошел обнять Боголюбова, то увидел на его лице настоящее умиление. Я не оттого плачу, что грустно, сказал Боголюбов, и не оттого, что ты Моцарт (они улыбнулись), а оттого, что хорошо. «Это какой же будет фильм?» – спросил Петров. «„Дети капитана Гранта“», – объяснил Дунаевский. «Не читал, – признался Петров сокрушенно, – мало я начитан, надо будет...»

Зажили они не очень хорошо, крепостные браки счастливыми не бывают, – свадьба эта была нужнее окружающим, в порядке символа, и символом она была очень хорошим, а жить вместе должны люди, которые вместе летают, а не те, кто встречается ночью на три часа, аккуратно после спектакля и до вылета. И Таня словно почувствовала, каких прекрасных возможностей она лишилась, – она была жена летчика, атлета, ухаживали за ней теперь крайне осторожно, не столько из опасения, что атлет начистит таблет, словно из чувства, что посягаешь на государственное. Этот брак был освящен не просто увертюрой, поднимай выше, но таким благословением, что не разведешься; Тане же было только двадцать три года, в атмосфере мужского внимания она расцветала, а внимание это теперь сменилось почтительным ожиданием беременности. Нельзя же, чтобы союз двух Нумеров Первых – пусть даже во втором ряду – был бесплоден; Таня поначалу отговаривала Петрова, ей надо было играть, наиграться. Но при этом же начала попивать, потому что Петров был хотя и чрезвычайно милый, но совершенно чужой. Таня не рождена была для семейственных обязанностей, а приказывать домработнице не умела, предпочитала, чтобы ничего не было сделано. Волчак им пробил сначала номер в гостинице «Москва», потому что не в поселок же летчиков было привозить молодую жену, это было от театра два часа езды и три шлагбаума, а потом уместно пропал один пожилой маршал, дважды орденосец, что-то с ним такое случилось, и они въехали в Лубянский проезд, 17. Мебель вся осталась. Квартира была большая, но неприятная. Времени они в ней проводили мало.

И тут в сентябре грянул гром – Степанова развелась!

Степанова была уже довольно известный штурман, да и отряд героев невелик, все всё знали, но Петрову никто не решался сказать – он как-то услышал в

обычных аэродромных сплетнях и кинулся разбираться. Что же оказалось? Они встретились в кафе аэроклуба, где она – теперь уже она! – раз в неделю тренировала молодых, и Петров там ее подкараулил и спросил: «Поля, что это?» Как всегда, они заговорили так, словно не расставались. Как всегда, им не надо было никаких предисловий. Как всегда, она сказала ему очень прямо: я могла терпеть, пока ты не был женат и был, значит, мой. А теперь я узнала, и так мне стало плохо, что я сказала мужу все. Ты не можешь себе представить, то есть я ожидала чего угодно, слез там, скандала, что хочешь, но он посмотрел с таким облегчением! Там давно другая жизнь, при его профессии легко. Все эти авралы... При нашей тоже, кивнул Петров, и оба засмеялись.

Вообразите же эту фарсовую, эту идиотическую ситуацию. Она не могла развестись, пока он не был женат, и развелась, как только он женился, – такое могут устроить себе только люди неба, люди нечеловеческой логики. И так они сидели вдвоем в этом кафе аэроклуба и пили компот. Он год ее не видел. На короткое время разговор перешел на профессиональные темы. Что, спросила она, действительно дает до пятисот? Пятьсот тридцать семь у меня был максимум по приборам, ответил он гордо. И тут же, без перехода, словно выдал уже главную военную тайну и теперь можно говорить что угодно, прибавил: а по ночам, ты знаешь, никакого удовольствия. «А по приборам?» – спросила она. По приборам все прекрасно, вздохнул он, но, знаешь, я думаю, от этого прибора зло одно. И опять засмеялись.

Он спросил про дочь, она оживилась и стала рассказывать о ней с той же гордостью, с какой он – об истребителе. Он заревновал, понял, что место дочери не займет никто и никогда, разве что будет у них когда-нибудь общий сын, но как это сделать? Петров сумел в двадцать девятом уговорить своего мастера цеха отпустить его в летное училище, победил недостатки своей летной манеры, поначалу слишком резкой, справился даже со склонностью к полноте – а все лыжные гонки, благо снегу завались. Но он не был хозяином своей судьбы, как про него писали, вот в чем штука; никто из героев, в том числе женщина-штурман Степанова, ничего не могли решить в собственной жизни. Они бегали лучше всех по рельсам, которые им проложили, и даже могли перескочить с одних рельсов на другие – например, с пути знатной ткачихи на путь славной летчицы. Но переменить свой маршрут они были не властны, и стало быть, судьба их была лететь параллельными курсами. Петров еще этого не понял. Он поехал один раз с Полей Степановой в гостиницу «Москва», где его знали и помнили. Он ужасно краснел, но они там сняли номер. И так им было хорошо в эти три часа, что он пошел пешком к себе на Лубянку в совершенно твердом намерении сказать Тане Пороховниковой: Таня, это была ошибка, и тебе так

тоже будет лучше. Был прекрасный мартовский день, очень яркий, и Петрову казалось, что сама природа на его стороне, потому что в мартовской Москве ярких дней не бывает, а тут смотри ты. Он шел, с наслаждением курил, весь еще был полон чувством тайной силы, которое просыпалось в нем с Полей Степановой, больше ни с кем. Он так Поле и сказал на прощанье: поезжай сейчас к себе, Степка, – я все решу. Рыжая собака встретила его, посмотрела очень умно и отбежала, словно испугавшись, – идет человек, заряженный судьбой, – Петрову и это показалось добрым знаком. Он пришел к Тане и увидел, что она бледна, а глаза красные. И он открыл рот, чтобы ей сказать, но вместо этого спросил: в чем дело, ты плакала? Она молча кивнула. Чуткость входит в число летных добродетелей, она была даже у Волчака, просто самолеты он чувствовал лучше, чем людей. Петров был счастлив в этот день и сразу все понял. Ты что, спросил он, ты это? – и не в силах был договорить. Таня сказала: да.

На следующий день он подал заявку на перевод в Испанию.

3

Официально их там не было, в действительности было порядка двух тысяч человек. Отправкой и созданием легенды занималась десятка – разведуправление Наркомата обороны. Почему Петров знал? Потому что в НИИ это знали все, и знали даже, что Испания может стать той спичкой, от которой полыхнет. А что полыхнет, в этом не сомневались даже дети, в этом сознании, в полной готовности, росли они все, грозовой воздух особой свежестью наполнял легкие, ни на какой альпийский бриз они бы его не променяли. Бригады формировал Огольцов; сначала он начисто отклонил Петрова, как уже отклонил Волчака, не особенно, впрочем, настаивавшего: у Волчака были дома дела. Петров же настаивал, и тут подвернулся превосходный случай: судьбу новой войны решала уже даже не авиация, а изделие, которое называлось просто «флейта», их делал НИИ-3 под водительством Царева. Царева с двадцать третьего волновал исключительно космос, но он не возражал против побочного эффекта вроде уничтожения авиации и танков противника. Бровман знал об этих штуках очень мало, но о них говорили как о главном оружии, которого ни у кого еще не было. Видимо, это имел в виду Клим, когда, визируя беседу в мае тридцать шестого, сказал: конечно, готовиться надо и все такое, но вообще-то современная война будет нами выиграна в первую неделю; не следует

расслабляться и увлекаться шапкозакидательством, но просто нужно знать – есть вещь, которая решит исход войны без затажного кровопролития, а в обозримом будущем сделает войну в прежнем понимании ненужной. На осторожные расспросы Бровмана он только подвел палец к губам и глазами показал резко вверх-вниз, то есть что-то вроде вертикального взлета. Кое-что знал Квят, съездивший в Запорожье и темно намекавший на производство принципиально небывалого топлива. Но ни Бровман, ни Квят не знали, что в марте тридцать седьмого неожиданно для всех, на таких этажах, куда и не все вожди имели допуск, принято было решение проверить в Испании те самые вещи, которыми группа изучения реактивного движения, в просторечии ГИДРа, занималась открытым порядком до тридцать третьего, а потом в закрытом режиме, оказываясь под разными предлогами в цоколе Вавилонской башни. Эти самые вещи назывались для краткости РС-82, каждая с зарядом из двадцати восьми прессованных шашек. Изумительна была почти невесомая легкость этих вещей – одна «флейта» весила триста шестьдесят граммов, в полном же снаряжении шесть кило; она летала со скоростью до трехсот пятидесяти метров в секунду на расстояние до семи километров, и поскольку Петров несколько раз уже взлетал с пусковой установкой, Огольцов принял решение направить его в сопровождении пяти И-15; тем более Петров сам этого хочет.

Но подобные решения отменялись с той же внезапностью, с какой принимались: вмешался третий отдел и сказал – ты что! ты что! Если это попадет в руки к вероятному противнику, каковую возможность нельзя не учитывать в принципе, а особенно при всеобщем и поголовном испанском разгвоздяйстве, рассекречена будет наиболее серьезная разработка, над которой в общей сложности пять лет гробятся лучшие силы. И хотя Огольцову страстно хотелось увидеть «флейту» в действии, а решающий перелом в Испании давно назрел, – потому что итальянская бригада, например, невзирая на все усилия товарища Альфредо, он же Пальмиро, проголосовала за отъезд, иначе всех так и перебьют, – складывалось впечатление, что в победе испанцев над испанцами на отдельных этажах не очень уж и заинтересованы. В конце концов, сказал вернувшийся оттуда Ломов, еще неизвестно, кого там больше – анархистов или троцкистов; те и другие воевать не умеют, а нашими руками жар загребать – извините. О том, что воевать действительно не умеют и пополнение никуда не годится, говорили решительно все, включая Теруэля, он же Мигель, он же тс-с... Но хотя И-15 отправились туда без пусковых установок, Петров был уже включен в списки и поехал на войну.

Поле он сказал, конечно, что летит в командировку, и ждал, что она не поверит, подумает – решил соскочить. Меня три месяца не будет, сказал он, за эти три

месяца она, ты понимаешь, созреет, – имел в виду Таню, – я вернусь и тогда сразу... Толя, сказала Степанова, делай все, как тебе нужно. Я знаю, ты плохо не сделаешь. Если ты сейчас едешь, то это так и правильно. Ты помни, что я тебя буду ждать, – я и Жанна. Жанной звали дочь, и как-то она никогда прежде так ее не называла в разговоре: дочь и дочь. Жанна была уже большая, пять лет. Петров ужасно стыдился. Но в двадцать пять лет иногда кажется, что все как-то рассосется, решится, – и оно действительно решилось, но кто же мог предвидеть?

Он отправился туда под именем Теодора Маттео, моряка с торгового судна *Gordo*, что в переводе означает «толстяк», но звучит гордо. Петрова в его тоске развлекала вся эта игра. Тоска была тем сильнее, что Таня его даже не проводила, – она не могла поехать в Севастополь, была занята в спектаклях, а он никак не мог ей сказать, что едет совсем не на испытания гидроплана и, может, не вернется.

Документы Петрову были сделаны превосходные, не подкопаешься. Из Севастополя они за две недели пришли в Картахену и вскоре отправились на аэродром под Мадридом. Для Петрова, как и для остальных десяти пилотов, это была первая заграница, они с наслаждением принохивались ко всему и обменивались сигаретами с двумя австрийцами и тремя американцами. Земля тут была сухая и почему-то оранжевая, листва у деревьев серая, женщины маленькие и вспыльчивые. Разрешались выходы в город, боевая работа сводилась к тренировкам, собственно боями не пахло. Петрова берегли, заставляли обучать испанцев управлению истребителями, до боя не допускали, а всего грустней, что не было никакой возможности писать письма. Секретная миссия, ты что. Секретность эта раздражала Петрова, того гляди не успеешь попрощаться не то что с Полиной, а даже с матерью, да и Таню ему было теперь скорее жалко. Она ничего не понимала ни в себе, ни вокруг. Все это вместе, плюс растущее напряжение, плюс разговоры о том, что фашисты совсем обнаглели и летают над аэродромом как у себя дома, – что, подумал он, соответствует действительности, это они тут непонятно кто, – привело к тому, что Петров вляпался в свою первую победу, которая чуть не стоила ему жизни, могла обернуться отправкой на родину, но иногда Бог любит сумасшедших. Лоса и стало его кличкой, которой он, не особенно таясь, гордился.

Когда Петров потом не столько рассказывал, сколько показывал тот бой на руках, Бровман все время думал, можно ли написать об этом фантастическом самоуправстве, но лично от Клина пришла резолюция, что война и есть

самоуправство, что если бы они под Царицыном ждали согласования, то Царицын, возможно, и посейчас бы не был взят. Короче, над аэродромом нагло летал франкист-разведчик, и Петрову приспичило его проучить. Он смотрел в небо, курил и ждал и однажды, завидев этого разведчика, бросился в свой самолет и без всякого приказа взлетел. О дальнейшем информация расходилась – Игнатьев говорил, что самолетов было девять, Петров скромно подчеркивал, что семь, но, во всяком случае, их было больше пяти; когда Бровман запросил уточнений, ему напомнили ответ Суворова: «Мы пришли их бить, а не считать». Петров ввязался в бой с превосходящим противником и начал им, конечно, показывать все то, за что его раньше забивали по шляпку, а именно тот рискованный, наглый, неуместный пилотаж, который он выдавал на испытаниях. Что такое, Толя, говорил сам Вахмистров, ты в бою намерен все это крутить? Петров долдонил, что машину надо проверять в экстремальных позициях и все такое, и если б не эти экстремальные позиции, его бы прошли в первые две минуты, а так не могли прицелиться. Нет, это были не разведчики. Это были «хейнкели», надежные, но не слишком быстрые машины, и это был его шанс. Куда уж они там летели – перебазироваться, сопровождать ли войска, они Петрову, конечно, не докладывали. Каковы были их чувства при виде одинокого истребителя, рванувшего им навстречу, – тем более.

Когда он понял, что оказался один против... сколько их там было? – то в первый момент похолодел, и посетило его чувство, знакомое действительно храбрым людям: игрушки кончились. Это значит, что до этого всё были игрушки. Сейчас, понял Петров, его будут убивать. Он мог представить, что его будут учить, так сказать, проучивать, даже просто бить, – мало ли его били, те же дубравинские или воронцовские, но не до смерти же, для забавы! Поняв, насколько все всерьез, Петров тут же сообразил, что убивать будут тем самым и Полю, и Жанну, – как-то до него дошло, что отдельно от себя он их уже не воспринимал. Про ребенка, которого ждала Таня, он почему-то не подумал, а вот про этих девочек – сразу. И когда Бровман с легким профессиональным цинизмом спросил его, ну а про что ты подумал-то, нам надо же писать, что ты представил все самое дорогое, – Петров сильно щелкнул его по носу и сказал: тебя. Тебя, Лёва, я представил, как ты будешь меня расспрашивать, и понял, что для этого я родился; ну а потом уж, конечно, руки матери. Бровман написал: «И я подумал, что, если удеру, то это будет вечным позором, тем более что хвост у истребителя – самое уязвимое место».

Так вот, поняв, что его сейчас будут убивать вместе с будущей семьей, Петров дал три очереди, причем, вовсе уж необъяснимо, попал. Он чувствовал, что и по нему два раза попали, но главное было спасти голову, ноги и мотор. Петров

сейчас не отличал себя от самолета, попали и попали, черт с ними, главное не задето. Дальше мысли прекратились, как всегда при серьезном пилотаже. Петров развернулся и пошел прямо на них, в упор, «хейнкели» прыснули в стороны, но ему прилетело. Машина и так была латаная, а тут ее хорошо тряхануло. Воздушный бой, как мы знаем, бывает двух видов – оборонительный и наступательный; этот был... бог его знает, пляска идиота перед волками, идиота, не имевшего целью никого обратить в бегство, а только спастись из собственной западни; но Петров успел отметить, что прыгал и крутился он как никогда. Сопоставимо с воздушной акробатикой под куполом. Время здорово растянулось. Он понимал, что рано или поздно – скорее рано – свои поднимутся и его отобьют, да черт знает, где свои? На аэродроме стояли две готовые машины, остальные пока выведут, пока взлетят – сто раз рухнешь; выбрасываться – так ведь велик был шанс, что прилетит не к своим, а одному без языка добираться... Тут он понял, что пробили серьезно, в брюхо, что еще одно такое попадание – и будет кряк, бряк; рули высоты плохо слушались, видно, задели. И Петров ощутил такую злобу и легкость, какая бывала только в самые лучшие минуты. Он перестал допускать собственную смерть. В конце концов, был случай, когда он в первом же парашютном прыжке приземлился на рельсы прямо перед поездом и сломал ногу, а все-таки сумел откатиться и тем спастись. И он попер прямо на «хейнкелей», выжимая из мотора силу всех своих шестисот тридцати пяти лошадей, – попер от имени и по поручению всех покровских, воронцовских и дубравинских, Поли и Жанны, и «хейнкели» брызнули от него, как капли от лужи, в которую наступил сапог; никто не мог противостоять такому тарану – и тут он увидел прямо перед собой стремительно приближающийся истребитель, которого не видел прежде, которого не учел. Истребитель не уклонялся от тарана и летел прямо навстречу Петрову, почему-то не стреляя; он надвигался стремительно, огромный, черный, неведомой ему модели, Петров представить не мог ничего подобного. Вероятно, это была американская машина. Петров видел ее совершенно ясно, хотя не мог разобрать, кто за штурвалом, запомнились только красные полосы на крыльях, вероятно, личная боевая раскраска аса, были такие пижоны. Они сходились лоб в лоб, в лучших традициях поручика Казакова, и веселая злоба Петрова сменилась изумлением. Он не представлял, не допускал, что у франкистов есть такое чудовище. Чем ближе Петров к нему подлетал, тем яснее понимал, что размер этой машины превосходил всякое человеческое разумение – больше пятнадцати, нет, двадцати метров в размахе, с винтом невероятной, непропорциональной величины. Петров понял, что этот мотор сейчас его изрубит, измельет в фарш, и диким последним усилием рванул вверх, но что толку было прыгать вверх от такой махины? Гигант надвинулся на него и поглотил, а когда галлюцинация отступила, Петров увидел догоняющих его своих и подбитый им, уходящий с

черным дымным хвостом «хейнкель». Петров глупо повертел головой – никакого сверхмощного монстра не было, сам он уходил вверх, а внизу три республиканских истребителя окончательно рассеивали франкистов, одного тяжело повредили, другие улепетывали. Петров понял, что на этот раз у него серьезно сдали нервы и, следовательно, надо будет провериться. Это было хуже, чем увидеть «Летучего голландца». Это было не просто так.

Когда он сел и вылез из самолета, пробитого в пятидесяти эдак местах, сознание его стало проясняться. Он сделал, конечно, вещь непростительную. Один за другим садились его спасители, бежали к нему, испанский механик Адольфо показывал большой палец, Грошев выкрикивал ругательства. Ладно, ладно, сказал Петров. Ругаться потом. Спасибо, братцы. Да уж спасибом не отделаешься, орал Грошев. Второй пилот с оливковым лицом, медленно наливавшимся кровью, – храбрый краснеет до опасности, трус после – одобрительно хлопнул его по плечу. «Какой черт тебя туда понес?» – спросил подошедший Добрынин. «Не знаю, – пожал плечами Петров. – Я думал, там один только».

То, что произошло дальше, не поддается никакому объяснению.

– Работать нельзя, – сказал механик, показав на самолет Петрова. То есть реставрации самолет не подлежал.

– Да, не починишь, – рассеянно сказал Петров. – Покурить бы, братцы.

Подошедший техник-испанец услужливо подал ему зажигалку. Техник пояснял впоследствии, что никак не предполагал ее немедленного использования, не будет ни один летчик прикуривать возле пробитого бака, отступит хоть на двадцать метров, но вот воистину поторопился услужить. Петров никуда не отошел и прикурил, и в следующую секунду резко отпрыгнул в сторону. Его самолет сгорел у всех на глазах, выгорел насквозь, так что нечего было и предъявить в доказательство героического боя. Вероятно, его забрал с собой гигантский истребитель, который таким своеобразным образом предупреждал Петрова о катастрофе.

Повторяю: самолет, уцелевший в бою с девятью, хорошо, пусть семью франкистами, пробитый пятьдесят раз и благополучно приземлившийся, сгорел от испанской зажигалки, потому что опытнейший советский ас закурил, не

отходя от бака. Или, чем черт не шутит, уронил зажженную папиросу, поджег струйку из подбитого бака, огонь подобрался к самолету и – ж-ж-ж-ж-жах! Это могло быть, эта версия обсуждалась. Огольцову, когда он прилетел разбираться, так и сказали.

– Хер с ним, с самолетом, – сказал Огольцов Петрову. – Я вам объявляю, я вас это... – Он не понимал, что можно сделать с человеком, которого должны были убить только что, и плюс у него сгорел самолет. – Ты что же делаешь? Это война, малый, ты понимаешь, нет?

– Приму любое взыскание, – смиренно отвечал Петров. Он допускал, что остался жив, но осознавал это не вполне.

– Но куда ты попер без приказа?

– Приму любое взыскание, – повторил Петров.

– Примет он... Кто тебя спросит. Ты можешь мне объяснить, что произошло?

– В Москву только не отправляйте, – попросил Петров. – Стыдно.

– Почему стыдно? – как бы сам себя спросил Огольцов. – Чего ж стыдно. В первом бою двоих повредил, сам выжил. Удача исключительная. То ли поощрить тебя, то ли разжаловать к свиньям собачьим. Вообще, конечно, великолепно. Я буду с тобой в Москве разбираться, ты будешь иметь бледный вид, и я с тебя вычту. Пока летай.

Петров даже не особенно обрадовался. Чувства его были несколько приглушены. С этого дня его перестали мариновать и сделали командиром звена.

Оказалось, что он прямо-таки рожден для войны. Возможно, причина крылась в состоянии некоторой безнадежности, которое он ощущал при мысли о доме, а вероятней все-таки, что война его заводила. Есть люди, которых трудно вывести

из себя, но в какой-то момент они начинают давать сдачи и увлекаются. В случае Петрова этот момент наступил в июле, когда Сиснерос, командир республиканских летных сил, приехал на русский аэродром – его называли именно русским, хотя компот там варился тот еще: сербы, американцы, французы. Сиснерос был желт от бессонницы, зол и подавлен. Он рассказал, что ночные бомбардировки франкистов плохо действуют на население и переутомили солдат, потому что налеты происходят теперь каждые полчаса. Надо что-то сделать, чтобы они так не летали. Петров после короткого молчания сказал, что готов к ночному бою.

Собственно, испанец этого и ждал, но предложить не мог: опыт ночных боев со времен империалистической войны был крайне мал и не пополнялся. «Как ты его найдешь в темноте?» – спрашивали Петрова разумные люди. А по разрывам, сказал Петров. Ты не представляешь, что такое испанская ночь, продолжали убеждать разумные люди, и поначалу они оказались правы: после первого же вылета, когда Петров никого не нашел, он вдобавок на плохоосвещенном аэродроме зарулил при посадке в воронку, сам чуть не поломался и поломал стойку. Это его взбесило, он разнес всех техников, на полосу теперь сгоняли машины и светили фарами. Кушкин придумал способ: франкисты при бомбежке прижимаются к земле, чтобы видеть цель; ты иди повыше, я – пониже, где-нибудь да поймает. Сначала повезло Кушкину, он увидел цель по лунному отблеску – при полной луне вообще проще, – но это оказался юнкерс, Кушкин дал по нему три очереди, и все три точно, – ноль внимания, фунт презрения. Что-то было ужасное и невозмутимое в том, как эта тварь, иронически покачав крыльями, ушла восвояси.

На земле стали смотреть, где у юнкерса уязвимости: гляди, показал Петров, в крыле у него бензобак. Может, здесь? Еще три ночи выходили впустую, на четвертую Кушкин стал мочить юнкерс в правое крыло, увлекся, потерял скорость и почувствовал, что валится в штопор; пока выходил из штопора, потерял юнкерса. Неделю не вылетали, потом ночная бомбежка случилась уже буквально в пяти километрах от аэродрома; ну, сказал Петров, это хамство. В ту же ночь Кушкин снизу подбил своего первого, с удовольствием посмотрел, как тот горит и разваливается на лету, пилот выпрыгнул, и его, как с не меньшим удовольствием говорил Еремин, поймали. Петрова это завело, и на следующую ночь он обнаружил «фиата», пошел за ним, благополучно подбил, но далеко оторвался от своих и влетел на территорию, о которой толком ничего не знал. Горючки у него было в обрез, он понял, что вернуться не сможет, и решил садиться.

Внизу была предрассветная тьма, он снизился до трехсот и впереди разглядел даже и не площадку, а так, ровное место с гулькин хер, – как бы бухта, с трех сторон окруженная горами. Что интересно, симметрично справа была такая же, и даже чуть больше. Петров вспомнил, как Канделаки полетел к избирателям и посадил бомбер в Адыгее на площадке тридцать на пятьдесят, чуть не упершись в гору винтом, – еле развернулся потом и оторвался на самом краю пяточка. Но то был Кандель, на своей земле и днем. Надо было решать – направо, налево? Справа будто бы казалось шире, а слева длинней, Петров прислушался к интуиции, она сказала почему-то налево, хотя обычно он в таких ситуациях строго выбирал направо. Но тут ясно слышалось: давай туда. Можно было бы еще приглядеться, однако оставалось у него десять литров, и он зашел-таки на вираж и чиркнул колесами по камню; что-что, а садиться почти вертикально Петров умел. У него был пистолет, от которого в таких обстоятельствах не ожидалось никакого толку, – продать жизнь подороже, не более. Но поползли из кустов, стали отделяться от камня какие-то чуть видные малорослые люди, – светало, он вглядывался и ни черта не понимал. «Рус, – закричали ему, – рус авьядор!» – Петров понял, что попал к правильным людям, и помахал.

Они объяснили ему позицию. Там, куда он чуть было не сел, как раз были франкисты, и Петров прилетел бы к ним в объятия, и тут уж хваленое везение никак бы ему не помогло. Внутренний голос подсказывает отважному ковбою: теперь ты как знаешь, а я уматываю. Но на этот раз голос все говорил правильно, и Петров стал объяснять, что ему нужна горючка, – горючка, нефтя, энтьендо? В ответ замотали головами, да и правда, откуда у них бензин. Но что у вас есть? Достать можете? Петров осмотрелся в разгорающемся свете дня: этими козьими тропами никакой грузовик не проедет. Ему бы хоть литров пятнадцать, но кто притащит? Допустим даже, что они пошлют пацана на базу, – сюда, положим, никто больше не сядет, чертовы горы, но сбросят как-нибудь; однако пока добежит пацан, пока прилетит Еремин или кто там, да пока сбросит, да пока промахнется... Петров уже знал несколько испанских слов, стал объяснять: диес и еще диес литрос... газolina! Си, си, закивал испанец. Одна канистра у них была, ее принесли, но что толку в одной канистре? Какого качества бензин? Нумеро октано? Си, буэно, объяснял ему республиканец, типичный козопас, смуглый, с жесткой шкиперской бородой. Мало, этого мало, повторял Петров, как это... поко! Тогда бойца осенило. «Алкоголь!» – предложил он. Но алкоголь, попытался объяснить Петров, не до выпивки! – но испанец уже кого-то послал, и две канистры чистейшего местного спирта отнесли к самолету. Откуда у них спирт? – да уж понятно, что в горах спирт бойцу нужнее бензина, а откуда? – так они на своей земле. Петров прикидывал: он никогда еще не летал на спирту, такого не водилось в авиации, но бензина ему хватило бы километров

на двадцать, несерьезно; разве долить? Получим спирто-бензиновую смесь, что же я о ней знаю? «Еще, еще надо», – раздраженно крикнул он, и республиканец на хорошем русском ответил: «Ну что ты сердишься, еще так еще».

– Мать моя вся в саже, – выдохнул Петров, – что же я перед тобой выделялся тут?

– Не знаю, – пожал плечами боец, – я думал, ты знаешь.

– Что я знаю?

– Что тут свои.

– Ну так не везде же свои! Я понимаю – в авиации...

– Везде, – со значением сказал боец. – Тебя как зовут?

– Толя, – радостно признался Петров.

– Болван. Здесь как зовут?

– Теодор.

– Торeadор, – передразнил смуглый. – А я Эрнесто.

– А дома как?

– А дома неважно. Мы там вряд ли увидимся.

Петров тотчас успокоился: он был среди своих. Он не сомневался теперь, что и остальные все были русские, притворявшиеся испанцами чисто для конспирации.

– Ты выпей, – предложил странный Эрнесто. – Пока заливать будут... они тут, понимаешь, все делают медленно. Те еще вояки.

Петров выпил, запил водой, услужливо предложенной девушкой из отряда, – медсестра или мало ли, кто знает ихние боевые обычаи, – и засмеялся.

– Слушай, – сказал он, – а там... ну, с той стороны... там тоже мы?

– А чего ты думаешь, очень свободно, – серьезно сказал Эрнесто. – Недовоевали, ну и вот. Там у них целый отряд из марковцев. Только они не здесь воюют. А вполне может быть, что и здесь кое-кто... Слышал я, там у них Яремчук второй. Славный был офицер, может, и стыкнемся еще.

– А ты что же, – сообразил Петров, – еще в Гражданскую?

– Ну а как же, – гордо пояснил боец. – Я еще в Ракитном дрался, слышал? За тот бой именное оружие имею. Также со мной тут. – И хлопнул по кобуре, однако оружия не показал, не желая, видимо, светить фамилию.

– Забавно, если встретитесь... ну, с этим-то...

– Обязательно встретимся. Есть за ним должок кое-какой. Тут ведь как, товарищ Теодор. Гражданская война – это же мы первые спецы. Эти, испанцы-то, воюют отвратительно. И не хотят они воевать, понимаешь? Пополнение никакое. Анисовую пить – это пожалуйста, а бегать, стрелять... И потом, они все норовят брататься. Один мне давеча говорит: ну что Франко, и при Франко люди будут хлеб сеять... Без понятия. Ни принципов, ничего. Если б не мы, давно бы уже все замирились.

– Но фашисты же! – не понял Петров.

– А им хоть фашисты, хоть кто. При любых живут. А где гражданская война – там обязательно мы, без нас бы давно весь мир загнил и все затухло. Только мы никогда не довоюем. Я сидел дома, розочки, вишь, растил. А сюда приехал – и опять жизнью запахло.

– Я тоже, знаешь, дома не смог, – честно сказал Петров.

– Ну а как же, – с пониманием кивнул Эрнесто. – Жизнь – это разве же переносимо? Я уже которую жизнь живу... Кончится тут – домой поеду, у нас там

тоже, почитай, будет гражданская война.

- Да ладно, - не поверил Петров.

- Обязательно, - твердо сказал Эрнесто. - Но сначала я, конечно, Яремчука второго найду. Теперь уж не уйдет. - Он словно нарочно смягчил это «не уйдет», чтобы оно стало похоже на шутку, но оно не стало. - Лети давай, спиртус отличный, с бензинчиком в самый раз.

Принесли три канистры, стратегический запас, и Петров махал - быстрее, быстрее! Потому что напротив увидел пулемет, и этот пулемет вполне мог добить до него, а проклятый рассвет уже разгорался. Эрнесто опять поднес ему алюминиевую кружку, Петров глотнул, запил, затряс головой - республиканцы двигались лениво, казалось ему. Кто-то закурил у бака - Петров затопал ногами и вырвал самокрутку. Солдатики переглянулись уважительно. Он прикинул, как будет взлетать: самый длинный путь получался по диагонали, но упирался прямо в обрыв, довольно-таки отвесный; оно и к лучшему. Черт меня дернул лихачить в этих ночных полетах! Невозможно было представить, что где-то есть Москва, мирные испытания, Поля... Отставить. У него был такой прием с детства - представлять, что это не с ним. Хорошо, сказал себе он, если действительно очень сильно разогреть мотор, если со старта выжать сотню, если задрать нос... Потом - эта отвесность может сыграть на нас; положим даже, что мы на долю секунды провалимся, - есть, есть шанс. Прикинул: у него было сто двадцать метров максимум. Ни метра больше. Если он сел... но для взлета нужно никак, никак не меньше ста, так не было еще, чтобы меньше. Хотя стоп! Он слышал - кто же ему рассказывал? - да кто-то же из газетчиков, точно рассказывал, что американец, негр, взлетел с тридцати. Но негра не собирались расстреливать из пулемета; если бы собирались, он бы пердячим паром, может, взлетел с двадцати. Петров вспомнил Ассена Джорданова, который всегда его выручал; Ассен Джорданов утверждал, что в обозримом будущем появятся самолеты, которым на разбег нужно меньше их собственной длины. Петров представил, как часто делал, Джорданова, который сидел с ним рядом на штурманском месте и одобрительно, спокойно кивал. И как только третья канистра опустела, Петров сел в кабину и заорал: «От винта!» Ему казалось, что это должны понимать все солдаты мира и даже все гражданские; и было нечто в его интонации, от чего они так и прыгнули в стороны.

Спирт был плохой, это он понял еще на вкус, сладковатый, из какой-нибудь местной дряни. Но винт закрутился, только дрожь была не очень хорошая,

несколько избыточная. Мать честная, это какой же будет выхлоп! Легче почему-то было ругаться, и Петров стал на все лады крыть партизан, которые тут стреляют и пьют, пьют и стреляют, и никакого толка; опробовав мотор на малых оборотах, он дал полный газ к обрыву. Нельзя было представлять, как он туда грохнется, надо было представлять, как он оттуда оттолкнется; ему нужно было десять минут в воздухе, только десять минут – и он у своих. Он представил себя на месте Канделя в Адыгее, но понял, что ненавидит и Адыгею. Все, кто с открытым ртом глядит на взлет, только и ждут, чтобы летчик разбился. Ну нет, подумал Петров. Он взлетал на запад, солнце било в глаза пулеметчику, очень хорошо, удача за нас. Что-то загудело у него в ушах, какая-то музыка. Петров не помнил, откуда музыка, но вдруг с ужасной ясностью представил театр, мосфильмовский оркестр, увертюру – там, там, парам-пам! – и стремительно, в такт ей, повел свой курносый самолет к обрыву. Все слушается, все как надо: пам, пам, парам-пам! Ну, мелькнуло у него, если сейчас оторвусь, то и от всего оторвусь, и буду с Полей до конца, до упора, до самой смерти буду с Полей! И когда в нем ровно запело «та-та-та-ТИ-там», он почувствовал пустоту под колесами; как и предполагал, на долю секунды провалился ниже – но выправился и, задрал нос, пошел на высоту.

Этого не могло быть, но это было. Всем теперь приказать летать на этом спирту. Там! Там! Тарамтам! Ничего не поделаешь, подумал Петров, теперь придется до смерти быть с Полей. Он развернулся, солнце ударило в лицо, он скорее почувствовал, чем увидел, что пулемет проснулся и колотит внизу, но это уж было пустое сотрясение воздуха. Петров глянул вниз: площадка была уже метрах в двухстах, и непостижимо было, что он сел на этом горном пятаке среди местных алкоголиков. Если дотяну, сказал себе Петров, я пришлю им цистерну спирта, тонну спирта. Оранжевая земля лежала под ним, мерзкая оранжевая земля, которая так ждала, чтобы он в нее впечатался, но в этот раз не дождалась.

Было шесть утра, когда он плюхнулся на аэродром. Огольцов был здесь, и Петров понял, что сейчас его будут разносить за все бывшее и небывшее.

– Сука, – коротко крикнул Огольцов, – ты знаешь, кого подбил? Их всех уже взяли, один погиб, а четверо в норме. Уже рассказывают. Они хотят тебя видеть, ты понял?!

Расцеловал Петрова и отшатнулся.

- Ты пьян, что ли?

- От самолета, - пояснил Петров. - Самолет да, пьян.

5

«Дорогой Толя, - писала Поля, - я знаю, что ты жив, и не потому, что так сказали, а потому, что просто знаю. Докладываю тебе, что завершила подготовку к беспосадочному перелету на Комсомольск. Докладываю тебе, что у нас весна, довольно дружная, небо синее, Жанна выучила стих, жизнь моя, как невыносимо». Петров читал это письмо так: почитает три строчки, побеждает по комнате, выделенной ему в старых, еще королевских казармах времен Альфонсо несчастливого Тринадцатого, потом опять почитает. Вручил ему эту страничку, исписанную с обеих сторон аккуратным штурманским почерком, журналист из «Красной звезды». Передал Вахмистров вместе с фляжкой коньяка и коробкой шоколада. Дойдя до слов «Стала я сухая и желтая, глаза бы мои на меня не глядели, стыдно показаться трудящимся перед стартом», Петров по своему обыкновению запрыгал на месте, не от радости, а от силы чувств, чтобы хоть куда-нибудь деть эту силу. Если бы ему этого штурмана сейчас, он расколотил бы всю авиацию, свою и чужую, чисто для удовольствия. Вахмистров, значит, теперь тоже знал. Да наверняка уже все там догадывались.

Он хотел написать ответ, но журналист уже уехал в войска, куда-то под Эскориал, да и надежен ли он, и кто еще будет там это читать? У Петрова не было уверенности, что вся их переписка попадает только к адресатам. Он и Тане писал сдержанно, а от нее вообще было за это время всего одно письмо с вырезкой из ленинградской газеты о том, как хороша она в роли Нины в «Маскараде». Ну чего, у них свой маскарад, у нас свой. Попутно Таня сообщала, что беременность ее не портит, но она теряет в пластике. Теряет в пластике, подумал Петров. Да, примерно как бомбер по сравнению с нами, но ничего - отбомбится и приобретет в пластике. Ребенка этого он не хотел, но понимал, что ребенок не виноват. Хорошо бы мальчик, тогда мы воспитаем летчика, научим его либо никогда не влюбляться, либо жениться только по любви, лучше бы на летчице. Хорошо бы женить его на Жанне, пять лет - не разница.

Поле он хотел написать, чтобы она посмеялась, про мальчика Карлоса. В первые дни этот мальчик к ним прибил, они еще не выехали на аэродром, куковали в Мурсии, машины должны были прибыть через неделю. Через переводчика расспросили пацана, что у него за семья: отец воюет, у матери, кроме него, еще двое ртов, совсем клопы. Попросили его сбегать купить зажигалки, он пропал на час – думали, сбежал с деньгами; нет, принес со словами, что купил самые лучшие. Тогда Минеев сказал: «Бойцы, пойдём ему купим хоть рубашечку пристойную, а то дыра на дыре». У Минеева своих двое, уже в школу ходят, погодки. Пошли в магазин, присмотрели пацану рубашку, курточку, беретик, он все это прижал к груди и смотрел вот такими глазами: что я скажу дома, откуда все это? Скажи, что тебе подарили авиадоро руссо. Карлос этот убежал, а через полчаса в казармы явилась, сверкая глазами, его мать, совершенно некрасивая, но очень сердитая испанка: зачем вы дарите сыну, у нас все есть, у нас не принято! И протягивала покупки, завернутые в газету. Но Петров сказал: «Синьора (переводи, переводи ей!), у русских летчиков есть такой обычай – перед началом боевых вылетов купить что-нибудь ребенку, непременно мальчику, это наше приношение местному воздуху, чтобы лучше держал». Все горячо подхватили: да, русский летчик, приехав в новый город, немедленно покупает ребенку рубашку там, штаны, чтобы небо держало. Испанка хмурилась, но вещи взяла. Когда вернусь, писал Петров Поле мысленно, мы пойдём поймать ребенка, что-нибудь купим, чтобы уже не разлучаться больше, поклянемся на этих штанах, что будем вместе. И когда ты меня бросишь ради скучного гражданского человека, на ребенке прямо при всех треснут штаны.

Он ничего не написал ей, конечно, но был уверен, что она все поняла.

Петров увлекся было войной, ему понравилось, на его счету было уже девятнадцать самолетов, уже один пленный летчик давал интервью «Правде» про то, как во время ночной бомбежки его внезапно снизу подстрелил республиканский пилот, никогда такого не было, он просто свидетельствует свое уважение этому асу. «Правда» не писала про то, что летчик этот, немец, действительно выразил желание побеседовать с Петровым. И уж конечно, там не было подробностей беседы: немец, как выяснилось, очень прилично говорил по-русски. Ему было под сорок. «Я учился в Липецке, да. Прекрасный город. Снимал квартиру с семьей на улице Розы Люксембург, да. Красивая улица, спуск прямо к реке». Решительно все в этой стране говорили по-русски, обучались в России или участвовали в Гражданской войне, и Петров не удивился бы, если бы председатель республиканского правительства Негрин, вручая ему золотые часы после пятого сбитого франкиста, заговорил с ним по-русски, с волжским оканьем; но тот всего лишь признался, что в науке считает себя более учеником

Павлова, нежели Фрейда. Негрин был ученый по всем этим делам, нервные клетки и все такое. «Но у меня русская жена», – добавил он, словно оправдываясь, и сказал по-русски: «Тюфяк»; «Тюфяк – это я».

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/bykov_dmitriy/istrebitel

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)